Тайны ВЕЛИКИХ

И. Свеченовская

СМЕРТЬ АЛЕКСАНДРА БЛОКА

Неразгаданная тайна

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

От какой именно болезни умер Александр Блок – до сих пор остается загадкой. Известно только, что конкретный диагноз поставить не удалось, и врачи, будучи совершенно беспомощными, могли только наблюдать за стремительным развитием симптомов неизвестной болезни. Всемирно признанный талант и величайший поэт Серебряного века кричал от невыносимых болей, испытывая невероятные муки. А все его окружение – Маяковский, Чуковский, Гиппиус, Мережковский, Соловьев и другие – были убеждены в том, что поэт был отравлен спецслужбами.

Чем было вызван творческий кризис Блока?

Почему советское правительство отказалось выпускать поэта на лечение за границу?

Почему даже ходатайство Луначарского и Горького не убедили Ленина в благонадежности Блока?

Чем были осложнены отношения Блока с Анной Ахматовой?

За что начальник Петрогослитиздата Ионов, пытавшийся расследовать причины смерти Блока, был приговорен к расстрелу?

На чем основана версия, что Блок не умер своей смертью, а был отравлен спецслужбами?

- Инна Свеченовская
  - ○
  - ○
  - ○ Пролог
  - ○ Глава 1
  - ○ Глава 2
  - ○ Глава 3
  - ○ Глава 4
  - ○ Глава 5
  - ○ Глава 6
  - ○ Глава 7
  - ○ Глава 8
  - ○ Глава 9
  - ○ Глава 10
  - ○ Глава 11
  - ○ Глава 12
  - ○ Глава 13
  - ○ Глава 14
  - ○ Глава 15

○ Глава 16

Инна Свеченовская Неразгаданная тайна. Смерть Александра Блока

© И. Свеченовская, 2010
© ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2010

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru)

Когда ты загнан и забит
Людьми, заботой иль тоскою;
Когда под гробовой доскою
Все, что тебя пленяло, спит;
Когда по городской пустыне,
Отчаявшийся и больной,
Ты возвращаешься домой,
И тяжелит ресницы иней,
Тогда – остановись на миг
Послушать тишину ночную:
Постигнешь слухом жизнь иную,
Которой днем ты не постиг.

«Возмездие». А. Блок

Пролог
Петроград. Август. 1921 год

В 1921 году Петроград оказался на краю бездны. Голод и бесконечная, ставшая уже патологической, борьба с врагами советской власти, должны были привести город к неминуемой гибели. Впрочем, вопреки ожиданиям, горожане понемногу стали привыкать к окружающим реалиям. Голода боялись, пока он не установился всерьез и надолго. Тогда его попросту перестали замечать. Перестали замечать и расстрелы. Во всяком случае, старались. Если послушать разговоры обычных людей на улице, то можно только изумиться их бессердечию и черствости. И… ошибиться. Причем серьезно. Вот идут по улице два ничем не примечательных петербуржца и мирно беседуют: «Вчера ходили на балет, пришлось полтора часа простоять на улице. Был обыск в восьмом номере, пока не закончили – никого не выпускали. Взяли молодого Порфирьева и студента. Тот в гостях был. Расстреляют, должно быть». – «Да уж… А у нас в кооперативе давали селедку».

Вот так… Все в одну кучу. Балет, селедка и расстрел. И говорят они так исключительно по привычке. Сегодня расстреляют Порфирьева, а завтра тебя. Шансы у всех равны.

Услышав обрывки этой беседы, некий гражданин среднего возраста и весьма средней наружности лишь покачал головой. Страшные вещи превратились в обыденность. И с этим он никак не мог свыкнуться. Впрочем, если бы собеседники знали, кто идет с ними рядом, то больше говорили бы о балете. Поскольку и за меньшее люди оказывались в ЧК.

Однако товарищу Ионову сейчас было не до них. Он спешил в дом на Офицерской улице, где проживал, а точнее умирал Александр Блок.

Ионов был уверен, что умереть Блоку помогли. Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы понять простые вещи. Ну не вписывается Александр Александрович в новую историческую реальность. И разве только он? Ведь не зря Владимир Ильич еще год назад издал секретную директиву: «Давить все это интеллигентское говно». Вот и стараются. Особенно это стало заметно в нынешнее лето. Точно этим августом решили истребить все лучшее, что есть в российской культуре и науке. Возьмите знаменитого Сологуба. Ионову нравилось его творчество, и он не имел ничего против этого поэта. Как говорил Ильич: «Ничего личного». Однако в визе в Финляндию ему отказали. И жена

Сологуба сломалась. Паспорта оказались той последней каплей, которая привела женщину к берегам Невы, откуда она бросилась в реку, чтобы утонуть. Ионов усмехнулся. А Гумилев? Этот рыцарь, поэт и путешественник! Где он? Верно – в камере. И никогда уже оттуда не выйдет. Или он, Ионов, совершенно ничего не понимает. Хотя… Не понимал он многого. К примеру, какого черта Гумилев вернулся в восемнадцатом году из сытой Англии в Россию? Ведь знал, что здесь творится! А сейчас следователь, ведущий его дело, говорит, что ведет он себя очень достойно. Никого не называет. Ионов подумал, что если бы у него было хоть малейшее чувство юмора, он бы расхохотался. Ну кого Гумилев мог назвать?! Весь этот заговор большевики сами и придумали. Придумали, чтобы найти повод для официального истребления ученых, поэтов и писателей.

Ионов оглянулся – вот и дом Блока. По распоряжению сверху он уже несколько дней каждое утро приходит сюда и сидит до позднего вечера в спальне больного поэта. Зачем? Наблюдает, как тот умирает, а потом пишет длинные рапорты и отчитывается перед начальством. Ионов поднялся по ступенькам и позвонил в дверь. На пороге появилась тучная женщина лет сорока, с седыми, плохо прибранными волосами. Растянувшаяся старая вязаная кофта только подчеркивала бесформенность ее фигуры, а хлопчатобумажные чулки с мелкими дырками и следами неудавшейся штопки придавали ее облику схожесть с нищенкой, волею случая заброшенной в некогда барскую квартиру. Глядя на эту женщину, никто не смог бы узнать в ней «Прекрасную даму», из-за которой два гения чуть было не сразились на дуэли. Да, время и разруха не пощадили Любовь Дмитриевну Менделееву-Блок…

Тем временем Любовь Дмитриевна, призвав все свое актерское мастерство, старалась не выказать истинных чувств, вызванных приходом Ионова. Она посторонилась, пропуская его в дом, избегая даже встретиться взглядом.

Понимая, что ничего, кроме негодования, он не вызывает, Ионов как можно деликатнее вошел. Длинный коридор, блестящий от бесконечного мытья, напоминал больничный. Ионов прошел прямиком в спальню Блока. Любовь Дмитриевна, не отставая, шла за ним. В комнате уже находилась Александра Андреевна – мать поэта. Ее психическое расстройство дошло до крайней точки, и поэтому приход Ионова вызвал целую бурю негатива. «Когда же сына оставят в покое?» – закричала женщина. Ионов ничего не ответил, невозмутимо сел в кресло и занялся своим привычным делом – наблюдением. Одного взгляда на Блока было достаточно, чтобы понять: он уже не жилец на этом

свете. Лицо пожелтело, осунулось и заострилось. Счет пошел не на дни, а на часы.

Ионов подумал, что пройдет совсем немного времени и вопрос, отчего умер Блок, неминуемо возникнет. Не может не возникнуть. Ведь до сих пор врачи не поставили диагноз. Не могут установить, от чего он умирает. О да… Разумеется, сифилис, которым поэт страдает с юности, это вам не булка с маслом. Болезнь тяжелая и коварная. Болезнь, которая достаточно часто приводит и к сумасшествию, и к смерти. Да только вот Блок – иной случай. Ионов был уверен, что все признаки отравления налицо. Достаточно беспристрастно взглянуть фактам в глазам. Врачи, лечившие Блока, были поражены тем, с какой ужасающей скоростью силы покидали его. На первый взгляд в этом не было ничего необычного. У кого в то время было цветущее здоровье? А Блок голодал в прямом смысле этого слова. От недостатка витаминов стали выпадать зубы, неоднократно он падал в голодные обмороки.

Но… Самым страшным для поэта оказалось другое. Он перестал слышать звуки. Оглох в прямом и переносном смысле. И почти не писал стихи. Когда К.Чуковский спросил его о причинах, Александр Александрович ответил: «Все звуки прекратились. Разве не слышите, что никаких звуков нет?»

Да, покачал головой Ионов. Блок умирает не сейчас. У него уже было несколько смертей. Первым его убил новый строй России. Именно об этом позже напишет Марина Цветаева:

Огромную впалость
Висков твоих – вижу опять.
Такую усталость —
Ее и трубой не поднять.

Здоровье Блока, фактически отлученного от художественного творчества, ухудшалось с каждым днем. И жизнь поэта очень отличалась от жизни тех, кто был обласкан новым режимом. Так, например, в доме М. Горького устраивались пышные застолья. Инженер и предприниматель Л. Б. Красин сообщал жене, которую он своевременно переправил за рубеж, что обедает дважды в день, и жаловался лишь на изобилие мяса. А в это же самое время семья Блока голодала. «Из великого поэта… превратился в рядового поденщика», – заявил сам о себе Александр Александрович в апреле 1921 года, предвидя приближение конца.

Весной 1921 года врачи установили у поэта: астму, инфекционный эндокардит, нарушение мозгового кровообращения, тяжелую стенокардию, нервное расстройство,

которое подчас граничило с психическим. На почве отвратительного питания стала развиваться цинга. Спасти мог только срочный выезд для лечения за границу.

Вот тогда-то «Прекрасная дама» и стала обивать пороги всех наркомов с просьбой выпустить их с мужем в Финляндию, чтобы Блок смог поправить свое здоровье. «И почему бы не пойти навстречу, если вы цените талант с большой буквы?» – подумал Ионов. Но нет. Секретное распоряжение гласило выдать паспорта на выезд, когда Блок уже будет при смерти. Более того, вот уже несколько дней Ионов носит с собой эти самые паспорта.

А вот еще одна странность. От болей Блок кричал так, что содрогались грешники в аду. И чтобы хоть как-то облегчить его состояние, поэту постоянно кололи морфий, который в конец затуманил и без того измученное сознание. Но что вызывало такие боли, врачи так и не смогли определить. Ионов продолжал стоять на своем – поэта отравили ядом медленного действия. И он даже знает когда. Во время поездки Блока в Москву. Он ведь был на приеме у Каменева и очень тому не понравился. По многим статьям. Одна из них – Блок все больше и больше приближался к черносотенцам. И только его природная деликатность мешала кричать в паре с Есениным: «Россия только для русских!» Впрочем, Каменеву по большому счету было глубоко плевать на эти выкрики. Особенно, если они исходили от поэтов. Ну что те могли поделать? Собраться вместе и написать еще один стишок?

Нет, Блок должен был умереть совсем по другой причине. Его нужно было уничтожить, как класс, как нечто враждебное и чужеродное новой России. Чего только стоит одна фраза, произнесенная Блоком на пушкинском вечере в Москве в его последний приезд: «Поэт умирает, потому что ему больше нечем дышать». И действительно, Блок задыхался в советской России, хотя поначалу восторженно приветствовал ее. Но потом, видимо, быстро понял, что к чему. Он до внутренней дрожи ненавидел насилие в любом его проявлении, ненавидел скандалы и даже разговоры на повышенных тонах, был убежден во внутренней свободе каждого человека! Ну разве есть такому место в современной действительности?! Разумеется, нет. И лучше, в самом деле, лучше для Блока умереть сейчас, пока все не зашло слишком далеко.

Ионов понимал, что с ним нельзя разделаться, как с Гумилевым. Сама мысль о причастности Блока к какому-либо заговору смехотворна. Значит, нужно искать другие пути. Вот их и нашли…

Вдруг Блок открыл глаза. И совершенно осмысленным

взглядом посмотрел на Ионова. Тот даже поежился. Настолько умным и проницательным был этот взгляд, словно умирающему перед самым концом удалось заглянуть в глубинные тайники души Ионова. Но тут болезненная судорога снова свела тело Блока, и Любовь Дмитриевна метнулась к мужу, чтобы смочить губы водой.

«Вот еще одна загадка, – подумал Ионов. – Этот их весьма непонятный брак». Он внимательно вгляделся в черты «Прекрасной дамы». Она ему действительно преданна. По-настоящему. И можно быть уверенным, что ни с кем другим уже свою судьбу не свяжет. Все иные мужчины будут казаться ей мелкими и незначащими. Так что же было в этом поэте такого, что в корне отличало от иных живущих рядом? Ионов не знал ответа на этот вопрос. А знать очень хотел. Поскольку сейчас наблюдал за человеком, находящимся у последней черты, а другого, полного жизни Блока, он не знал, да и не мог знать. Слишком разные у них были орбиты, и если б не революция, они никогда бы не пересеклись.

Блок стал бредить. Бредил об одном и том же. Все ли экземпляры «Двенадцати» уничтожены? Не остался ли где-нибудь хоть один. Срывающимся голосом он твердил: «Люба, хорошенько поищи! И сожги, все сожги!» Любовь Дмитриевна как заведенная повторяла одно и то же: «Я все уничтожила. Ничего не осталось». Но, видимо, Блок ей не до конца верил. Он с огромным усилием поворачивал голову: «Поклянись мне, что ты все уничтожила!» Любовь Дмитриевна клялась, что говорит истинную правду. Вдруг неожиданно Блок вспомнил и закричал: «Брюсов! У него остался! Люба, отвези меня в Москву! Я заставлю его отдать! Пусть даже убью, но заставлю!»

Ионов покачал головой. Брюсов, Брюсов. Давешний кумир Блока. А теперь… Как различно сложились их судьбы. Сейчас Брюсов, этот маг и чародей, чья поэзия стольких сводила с ума, занимал ряд правительственных постов. Комиссарствовал, заседал, реквизировал частные библиотеки в пользу пролетариата. Писал множество стихов, восхвалявших, разумеется, тот же пролетариат и его вождей. Ионов даже не удивился бы, узнав, что наряду с восхвалением живого Ленина у Брюсова припасено несколько стихотворений на смерть вождя.

Удивительное дело, продолжал размышлять Ионов, в стране голод, разруха, расстрелы не прекращаются ни днем, ни ночью, а народ сходит с ума из-за поэзии. Позже эту же мысль, но более точно сформулирует Марина Цветаева: «Стихи нужны были, как хлеб». Почему? Видно, тогда это была единственная возможность убежать без оглядки, перенестись в иное измерение. Поэтому

многие поэты, эмигрировавшие в Европу, навсегда перестали писать. В рациональной, сытой стране было не до поэзии, куда более земные заботы брали верх. Но здесь, в страшной смуте, стихи были тем стержнем, который помогал выстоять несмотря ни на что.

И все же Ионова не покидала мысль, что самое главное в убийстве Блока (а он нисколько не сомневался, что перед ним самое настоящее убийство) от него ускользает. Вроде вот оно рядом, а понять и уловить суть Ионов не мог. А еще точно знал, что обязательно разберется. Не для потомков, а для себя самого, поскольку терпеть не мог неразгаданных загадок, а сейчас перед ним была настоящая головоломка, которую он обязательно решит. Для этого нужно как можно четче и подробнее изучить жизнь самого Блока. Найти тот поворотный пункт, когда его участь была решена.

Он стал внимательно всматриваться в лицо поэта. И совершенно неожиданно подумал: «А ведь еще три месяца назад…» Да, именно об этих событиях ему рассказали Корней Чуковский, а позже Маяковский. Седьмого мая Блок выступал в московском Доме печати. Не успел он закончить чтения, как на сцену влетел лысый человечек в гимнастерке, некто Струве, автор «Стихотворений для танцев под слово», рифмоплет, которого Блок не так давно публично отчитал («И по содержанию, и по внешности – дряхлое декадентство, возбуждающее лишь отвращение»). Так вот… тот самый Струве громогласно объявил, что сейчас они слышали стихи мертвеца. В зале поднялся гул возмущения, лишь Блок оставался невозмутимым. Наклонившись к Чуковскому, прошептал, что так оно и есть. «И хотя я не видел его, я всею спиной почувствовал, что он улыбается», – признался потом Чуковский. И повторил слова поэта: «Он говорит правду: я умер».

Корней Иванович, естественно, принялся горячо возражать, но позже… вынужден был признать, что то страшное время – страшное и в социальном, и в личном плане – было и впрямь временем его умирания. «…Даже походка его стала похоронная, будто он шел за своим собственным гробом».

Не укрылось это печальное обстоятельство и от острого глаза Маяковского, который тоже видел Блока 7 мая – правда, не в Доме печати, а в Политехническом музее. «…В полупустом зале, молчавшем кладбищем, он тихо и грустно читал старые строки о цыганском пении, о любви, о прекрасной даме, – дальше дороги не было. Дальше смерть. И она пришла».

Маяковский не совсем точен – стихов о «Прекрасной даме» Блок в Политехническом не читал, и зал был отнюдь не пуст, но

главное он углядел зорко: за плечами и впрямь стояла смерть…

Ионов задумался… Говоря о Блоке, невозможно избежать темы смерти. Почему? На этот вопрос он не мог ответить. Все и всегда воспринимали эту тему как данность. Тогда Ионов поставил вопрос по-другому. Давно ли? Когда за плечами поэта впервые появилась смерть? И почему с таким восхищением и детским заигрыванием он постоянно о ней писал? Ионов вспомнил отроческое откровение Нины Берберовой.

Ей было всего четырнадцать лет, когда она впервые увидела Блока на поэтическом вечере в Петербурге. Произошло это в марте 1915 года; до этого она знала своего кумира лишь по снимкам. Правда, хорошо знала – очень внимательно и очень пристрастно всматривалась…

«Блок вышел на сцену прямой и серьезный. Лицо его было несколько красно, светлые глаза, густые волосы, тогда еще ореолом стоящие вокруг лица (и светлее лица в свете электричества), были те же, что и на фотографиях. И все-таки он был другой, чем на фотографиях… Что-то траурное было в его лице в тот вечер».

Не случайно в начале семнадцатого года Блок напишет о себе как о человеке, который «давно тайно хотел гибели». Причем говорил об этом не только дома, среди близких, но и при посторонних. «Самое слово *гибель* Блок произносил… очень подчеркнуто, – отмечает Чуковский, – в его разговорах оно было заметнее всех остальных его слов».

И произносил, и писал, и не только в стихах. За два месяца до «Снежной маски» признавался литератору Евгению Иванову, которого называл в дневниках «лучшим из людей»: «Со мной – моя погибель, и я несколько ею горжусь и кокетничаю».

В чем же проявлялось это кокетство? Быть может, в том, что, как говорил он тому же Иванову, его нисколько не страшит, если к нему, как к Дон-Жуану, явится каменный истукан и мертвой, холодной, неразжимаемой хваткой возьмет за руку? Или в том, что иногда жаловался, по свидетельству одного из мемуаристов, на избыток физических сил и здоровья? Не на нехватку – на избыток…

Итак, констатировал Ионов, Блок сам признавался: «Сердце просит гибели». А раз просит, то получит, ибо… Как говорил сам Александр Александрович: «Даже рифмы нет короче глухой, крылатой рифмы: *смерть».*

Значит, уже тогда в нем дремало, время от времени вырываясь наружу, желание умереть. И никакого страха перед концом он не чувствовал. Скорее, напротив, предвкушение. «О, глупое сердце, смеющийся мальчик, когда перестанешь ты

биться?» Чувствует – ждать остается недолго, сравнительно недолго. «Все чаще вижу смерть и улыбаюсь…» Чему улыбается? А тому, что «так хорошо и вольно умереть». Сколько можно найти образов смерти в мировой литературе, но, кажется, самый поэтичный из них принадлежит Блоку. На мосту его взору явилась *она* — ну конечно же, на мосту! – ночью – ну конечно же, ночью! – под снегом – разумеется, под снегом… «Живой костер из снега и вина». Тихо взяв за руку, вручает поэту белую маску и светлое кольцо: «Довольно жить, оставь слова…»

Она зовет, она манит.
В снегах земля и твердь.
Что мне поет? Что мне звенит?
Иная жизнь! Глухая смерть?

Ионов потер рукой подбородок. Но тогда… Тогда получается немыслимое. Ведь не может быть, чтобы человек сам желал смерти, призывал ее и… в итоге отравил сам себя. Нет, не ядом, а тем, что никак не мог примириться с жизнью. Хоть и говорил в стихах: «Принимаю», – а не смог. Конечно, это дико. Но… Вполне может получиться так, что Блок всем своим образом мыслей запрограммировал себя на гибель. Недаром же он писал Андрею Белому: «Я люблю гибель, любил ее искони и остался при этой любви». Настроенное на гибель все существо поэта выполнило эту программу, когда ему минуло лишь сорок лет. Ровно столько было отведено ему судьбой, чтобы устоять на гибельном ветре истории.

И все-таки… Нужно в этом тщательно разобраться. Изучить жизнь поэта в мельчайших деталях. И тогда… Тайное для Ионова станет явным. Ионов не знал, что все его попытки, в сущности, никуда не приведут. Когда перед ним станет что-то вырисовываться, его самого приговорят к расстрелу. Конечно, не из-за Блока, а из-за излишнего любопытства. Чтобы впредь никому неповадно было проникать в тайны, сокрытые за семью печатями. Но все это будет намного позже. А пока Ионов и многие другие почитатели умирающего поэта пытаются найти нечто такое в его жизни, что должно было привести Александра Александровича к печальному концу.

Глава 1
Из сумрака веков

Известный писатель и литературовед Корней Иванович Чуковский, размышляя о Блоке, подчеркивал, что его «биография светла и безмятежна, а в стихах – лихорадка ужаса. Даже в тишине чуял он катастрофу». Это предчувствие началось у поэта в самые ранние годы. Еще юношей Блок написал:

Увижу я, как будет погибать
Вселенная, моя отчизна.

А говоря о музе, он прежде всего написал песнь о гибели:

Есть в напевах твоих сокровенных
Роковая о гибели весть…

Всю жизнь Блок ощущал себя выброшенным из родного уюта… баловень доброго дома, обласканный «нежными женщинами», «почувствовал себя бессемейным бродягой и почти все свои стихи стал писать от имени этого отчаянного, бесприютного, пронизанного ветром человека».

Но в жизни даже самого отчаянного бродяги, лишенного всяческих мирских благ, все же есть нечто, чем он безумно дорожит. То, что он любит до внутренней дрожи. Любит не за что, а вопреки. Исключением из этого правила не стал и Блок. Единственной любовью, которой он был верен всю жизнь, это его родной город. В самом деле, Блок и Петербург неотделимы друг от друга. Для поэта город был столь же реальным персонажем, как и немногие близкие люди. Блок любил Северную столицу, острой и в то же время измученной любовью – патологически боясь, что однажды город исчезнет, как предсказал Достоевский. Петербург для поэта – это нечто святое, икона, которой он не уставал поклоняться. Город, пропитанный насквозь строками Пушкина и Достоевского. Причем последнего в особенности.

Блок любил не парадный, блистающий Петербург с его помпезной дворцовой красотой, шикарными магазинами и ресторанами. Нет, Петербург Блока очень похож на город Достоевского, где в мрачных доходных домах разыгрываются истинные драмы и трагедии. Причем эти узкие, подчас заваленные мусором улочки станут настоящей декорацией для

разворачивающейся на их подмостках подлинной драмы. Драмы под названием – «Жизнь А. Блока».

Действительно, Петербург Серебряного века весьма и весьма неоднозначен и противоречив. С одной стороны, изысканная архитектура модерна и неоклассики, выставки «Мира искусства» и молодых модернистов, плеяда выдающихся поэтических талантов, блестящая школа балета. С другой – город заводов и фабрик, рабочие, нищенские окраины… Именно в эту недолгую, по историческим меркам, эпоху дни «блистательного Санкт-Петербурга» были уже сочтены. Неумолимо надвигалась Первая мировая, а следом за ней – революционные потрясения, окончательно разрушившие имперскую Россию…

Блок, попавший на перепутье новой и старой эпохи, действительно все больше и больше напоминал заблудившегося ребенка. Однако… Мы и сейчас можем мысленно представить такую картину. Худая высокая фигура Блока бродит по заснеженным улицам, вот он свернул за угол и зашел в какой-то грязный кабачок, а вот вышел на Невский проспект и… растворился в тумане. И только вслед ему звучат строки близкого приятеля – Вячеслава Иванова…

«Классическое описание Петербурга всегда начинается с тумана. Туман бывает в разных городах, но петербургский туман особенный. Для нас, конечно. Иностранец, выйдя на улицу, поежится: „Бр…проклятый климат…“ Ежимся и мы. Но…

…ни на что не променяем пышный,
Гранитный город славы и беды,
Широкие сшющие льды,
Торжественные черные сады…

И туман, туман – душу этих „львов и садов“. Петр на скале, Невский, сами эти пушкинские ямбы – все это внешность, платье. Туман же душа. Там, в этом желтом сумраке, с Акакия Акакиевича снимают шинель, Раскольников идет убивать старуху…»

А Блок… Блок, для которого туман необходим, как воздух бродит, не зная покоя по ночному городу. Для него туман – это вечный спутник, понимающий его лучше родных и близких. Поэт стоит на набережной Невы и не отрываясь смотрит на черные воды реки. «Когда же наступит осень, – думает Блок, – туман снова окутает город. Все верно… Это самый отвлеченный и самый умышленный город на земле. Еще Достоевский сказал: „Мне сто раз среди этого тумана задавалась странная, но навязчивая греза: А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с

ним вместе и весь этот гнилой, склизкий город, подымется с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото, а посереди его, пожалуй для красы, бронзовый всадник вдруг проснется, кому это все грезится, – и все вдруг исчезнет…“»

И все же… Этот красивый, холодный и даже слегка отстраненный город постоянно навевал на Блока такие далекие, но такие прекрасные картины прошлого. Того прошлого, которое, увы, не возродится уже никогда. И тотчас, словно по мановению волшебной палочки перед ним возникло видение.

Лето… По широкой Неве от Академии медицины до Академии наук идет пароход, на котором великий Менделеев, создатель «периодической таблицы» едет в гости к своему приятелю профессору Бородину, известному химику, имевшему престранное хобби – сочинять музыку. Вот так, вечерами, после многих часов, проведенных в лаборатории, г-н Бородин взял да и сочинил «Князя Игоря». Впрочем, два химика не обсуждали пассажи мира искусства, а любили чаевничать и беседовать, как нынче говорят, про жизнь. А за окном на набережной кипела университетская жизнь, тем более что ни в одной столице мира на берегу реки не находилось столько учебных заведений, сколько в блистательном Санкт-Петербурге. «Как же пустынна набережная, – думает Блок, возвращаясь в реальность своего времени, – будто все умерло. Все мертво». И снова перед ним возникают две фигуры – Менделеев и Бекетов. Каждый занят своим делом… В своих уютных и просторных квартирах, в забитых книгами библиотеках, в лабораториях с новейшим для того времени оборудованием, они трудились во славу дела их жизни, во славу российской науки. А в то же время их жены, весьма эмансипированные дамы, тоже старающиеся идти в ногу со временем, жили собственной напряженной жизнью. Воспитывали детей, отдавали и наносили визиты, и читали, читали, читали.

Дети подрастали, и девочки – эти юные воздушные создания, уже не видели смысл жизни только в счастливом замужестве, а пытались найти свой собственный путь в этом мире. Девушки были умны и прекрасно образованы, любили Листа и Берлиоза, переводили Бальзака и Виньи, читали братьев Гонкуров, а еще… Обожали светское общество и устраивали потрясающие вечеринки, на которые приглашали студентов из учебных заведений их родителей.

Такие приемы любили устраивать в шумном, веселом и хлебосольном доме профессора Бекетова – ректора Петербургского университета. На них всегда царила непринужденная веселая обстановка, шутки и розыгрыши. Вот как

их описывает Нина Берберова: «Пожилые профессора, бородатые и длинноволосые, в долгополых сюртуках, играли в карты. Дамы за самоваром судачили обо всем на свете: педагогике, литературе, семейной жизни. А молодежь – будущие светочи науки – одни еще неуклюжие, а другие, напротив, чрезвычайно светские, приглашали на вальс барышень с осиными талиями, большей частью уже предпочитавших Шатобриану Стендаля».

Младшей дочери Бекетовых – Александре едва исполнилось семнадцать. Бойкая, веселая, наделенная живым умом, она была всеобщей любимицей. И все же у девушки, несмотря на столь юный возраст, уже сформировались вполне серьезные интересы. Отец привил ей любовь к систематическим занятиям и энциклопедическим знаниям, а мать – переводчица французских романов – любовь к литературе. Александра пишет стихи, у изголовья ее кровати лежат рассказы Доде, а под подушкой – «Воспитание чувств» Флобера.

Что ж тут удивительного, если Александра выросла очень романтичной девушкой. Почти живая иллюстрация пушкинской Татьяны: «Ей рано нравились романы, они ей заменили все». И дальше шло почти по тексту. Молодые люди, бывавшие в доме Бекетова, казались ей скучными и пресными. Душа ждала романтичного героя, чем-то похожего на Онегина или Печорина. В нем должно быть нечто эдакое, холодное, отстраненное и чуть демоническое. Такое, от чего бы затрепетала ее душа, какая-то загадка, которую хотелось бы разгадать, лед, который нужно было бы растопить. В общем – некто очень выделяющийся из привычного круга. И, естественно, если чего-то очень хочешь, – оно непременно сбудется. Демон собственной персоной не замедлил явиться.

Вечная боль и тайна поэта – его отец. Всю жизнь Блок пытался понять этого человека, с настороженностью наблюдая за собой, боясь увидеть его черты в себе, и приходил в бешенство, когда отчетливо их видел. Он, практически не видевший и не знавший отца, постоянно вел с ним диалог… И когда его обвиняли в излишней нервозности и буйности, отвечал: «Должно же мне хоть что-то остаться от отца…», а потом добавлял: «Мы с ним связаны кровно».

Александр Львович Блок появился в доме Бекетовых зимой 1877 года. Он уже был юристом, оставленным в университете, чтобы подготовиться к профессуре. Немец по национальности, Блок отличался довольно тяжелым характером и весьма романтичной внешностью. Статный красавец, с печальными

глазами и грустной улыбкой, он, шутя будоражил девичьи сердца, до поры до времени скрывая, что ему присущи все пороки конца девятнадцатого века. Педантичный во всем, вплоть до мелочей, скупой до неприличия, обладающий буйным нравом, он прятал худшие стороны характера за маской безразличия и отстраненности. И все же… опытный психолог вполне мог заметить, что слишком судорожны были порывы молодого юриста, слишком часто в тонкую линию сжимались его губы и ходили желваки на лице.

Привычка постоянно анализировать свои эмоции, чувства и даже высказывания сыграла с ним злую шутку. Блок подчас не мог даже пошевелиться, борясь с охватившим его оцепенением, не мог довести задуманное до логического конца. А еще… Была у него своя навязчивая идея… И звалась она «сжатые формы». Человек небывалой эрудиции, Блок впустую растрачивал силы, ища для своих философских и социологических трудов новые и непременно «сжатые формы», а не найдя их, не мог завершить задуманное.

Отец будущего поэта ни в чем не знал полумер. Середина его не привлекала ни в каком виде. Он любил крайности, всегда и во всем. Любовь Блока больше напоминала ненависть, чем нежность, заботу и поддержку близкого человека, он отрицал все существующие идеалы и требовал полного и безоговорочного подчинения собственной персоне.

Но всего этого юная Саша Бекетова, разумеется, не знала. Она видела перед собой лишь парадную сторону портрета, а увиденное ей нравилось все больше и больше. Он вскружил ей голову своей загадочностью и грустной, таинственной улыбкой. Да и в самом деле, как было устоять перед таким умным, противоречивым, поскольку холодность в нем уживалась с пылким нравом, таким очаровательным мужчиной. Сашенька влюбилась в него со всем пылом юности. Да, впрочем, ладно она! Он очаровал все семейство Бекетовых. Блок действительно казался «новым человеком», точно глоток свежего морозного воздуха.

Блок тоже не остался равнодушным к младшей дочери профессора и вскоре просил ее руки. Саша не могла поверить. Нет, такого просто не может быть! Она не сможет составить ему счастье! Она недостойна его! Глотая слезы, девушка отказывает Блоку, не замечая, как сжимаются его кулаки, как подергивается уголок рта. Блок круто разворачивается и, глубоко оскорбленный, молча уходит прочь из этого дома.

А Саша, оставшись одна, поняла, как же ей грустно без этого странного человека. Как ей бесконечно дороги его блестящие

выпады, ироничные замечания и безупречная логика. Впрочем, и Блок не мог долго таить обиду на эту живую и непосредственную девушку. Его тянуло к ней. Это не поддавалось никакой логике и здравому смыслу. Он и сам толком не понял, как снова оказался в доме профессора. Молодые люди объяснились и больше уже не скрывали своих чувств. На этот раз Саша приняла предложение юриста. Однако радости профессор Бекетов по этому поводу не испытал. Да, он, безусловно, симпатизировал Блоку, но выдать свою любимую дочь за такого, мягко говоря, нестандартного человека, был неготов. Но… Устоять против уверения Александры, что только с ним она будет счастлива, тоже не смог. И вскоре сыграли свадьбу.

Молодым нужно было ехать в Варшаву, куда Блок получил назначение в университет. Саша уехала, адом Бекетовых точно опустел. Отец погрузился в свои гербарии, мать в переводы, сестры занялись своими делами. И все ждали вестей из далекой Варшавы. Но письма приходили редко и были весьма сжаты. Напрасно домашние старались прочесть между строк реальную жизнь дочери, сухие скупые строчки сообщали только факты без примесей эмоций. Да, она счастлива с мужем, у них все хорошо, потом… Саша написала, что ждет ребенка… Но, увы, он умер. Правда, они с мужем не теряют надежды еще иметь детей. Профессор, читая ее письма, лишь качал головой – как на самом деле складывалась жизнь Сашеньки?

А действительно, как? Нужно сказать, что на чужбине Александра сильно изменилась. Живой подвижный характер, острый язычок и вольнолюбивый нрав не могли по определению способствовать счастливой жизни с таким тяжелым человеком, которым на поверку оказался Блок. К тому же именно в семейной жизни расцвели тайные стороны его души: беспричинная ревность, угрюмость, подозрительность и вспыльчивость. Он видел в Сашеньке не жену, не любимую женщину, а создание, находящееся целиком и полностью в его власти и принадлежавшем только ему и в делах, и в мыслях. В этом мрачном усадебном доме, находящемся в предместье Варшавы, при закрытых ставнях, муж изводил Александру своими подозрениями, устраивал ей жуткие сцены и даже частенько избивал молодую женщину, искренне считая, что действует исключительно ей во благо. Сашеньке не позволялось не только иметь приятелей и подруг, но и без ведома мужа покидать дом, более того – вскоре она поняла, что иметь собственное мнение, и уж тем более отличное от мнения мужа – тоже непростительная вольность.

Но бывали в их совместной жизни и иные дни. Тогда Блок

становился нежен, дарил жене подарки, уверял в своей неземной любви и, стоя на коленях, просил прощения за все безумства. Однако стоило Сашеньке не так посмотреть на него, как в только что нежного и любящего мужчину точно бес вселялся. Голос становился жестким, потом угрожающим, взгляд безумным, он осыпал ее страшными упреками, переходящими в оскорбления, и в итоге им овладевала безумная ярость, лавиной обрушивающаяся на молодую женщину. Саша стала до смерти бояться мужа, вместо яркой и страстной любви, которую она поначалу к нему испытывала, появился липкий жуткий страх, охватывающий ее все сильнее и сильнее. Блок внушал ей неподдельный ужас. И она уже не видела выхода из этой жуткой ситуации.

Точно услышав ее молитвы, Бог протянул ей руку помощи. В 1880 году Блоки возвращаются в Петербург, где молодой юрист должен был защищать магистерскую диссертацию. В том, что защита пройдет блестяще, Саша ни секунды не сомневалась. И, как потом выяснится, оказалась права.

Когда же она переступила порог родного дома, близкие пришли в ужас, настолько она изменилась. Да, конечно, она снова была беременна… Тяжело переносила свое положение, но все же… После долгих расспросов Сашенька призналась в том, как на самом деле протекала ее семейная жизнь. Профессор был потрясен. Его дочь! Девочка, с которой они сдували пылинки! Да как он посмел!

Блок к тому времени снискал себе славу ученого. Его работа «Государственная власть в европейском обществе» имела огромный успех, он стал первым социологом, который писал о классовой борьбе. Но вот цель достигнута, защита прошла на ура, и пришла пора возвращаться в Варшаву. Бекетовы настаивают, чтобы Саша осталась дома. Как Блок ни упорствовал в своем желании увести жену с собой, профессор был непреклонен. Отцу будущего поэта пришлось уехать одному.

И вот когда Александра Андреевна окончательно рассталась с мужем, 28 ноября 1880 года родился мальчик – плод этой любви и ненависти, мальчик, который позже стал символом целой эпохи и с чьей смертью прекрасная и романтичная пора, которую мы называем Серебряным веком русской поэзии, безвозвратно канула в Лету. Его жизнь и его смерть словно разделили время и нашу жизнь на две половины. На до и после. И ничто уже не могло этого изменить. С его смертью ушел в прошлое целый мир, который остался только в воспоминаниях тех, кто его знал.

Звали этого мальчика – Александр Блок.

Глава 2
Отчий дом

О детстве Блока написано очень много. Пожалуй, не стоит повторять общеизвестных фактов. Заключаются они в основном в том, что в доме Бекетовых души не чаяли в Сашуре. Тетушки, бабушка, няня, и, конечно, дорогая безумно любимая мама. Женщины, о которых потом он скажет:

Он был заботой женщин нежной
От грубой жизни огражден.

Действительно, они старались исполнять все его желания. В доме царил самый настоящий культ маленького Сашуры. А солидный профессор, ректор Петербургского университета, превратился в дедушку, готового выполнять любые прихоти обожаемого внука. Он стал для Саши первым другом, играл с ним в лошадки, водил мальчика смотреть на корабли, которые внук просто обожал.

Но место мамы никто не мог занять. Более того, прочные узы, соединяющие их, не порвутся никогда, а только будут все более и более усиливаться. Эта трогательная привязанность будет проявляться в постоянном беспокойстве, в почти болезненной заботливости. На долгие, долгие годы мать станет для Блока лучшей подругой и советчицей. Она вся растворится в сыне. Да это и не удивительно. Нервная, со слабым здоровьем женщина, мечтавшая об идеальной любви, так и не смогла обрести свое счастье. И теперь в своем обожаемом сыне она видела единственную надежду отойти от жалкой обыденности. Саша стал для нее тем стержнем, на котором отныне будет держаться ее жизнь. Да и он не мыслил и дня без матери. Именно к ней всегда возвращается, и не важно, то ли от нового увлечения красивой женщиной, то ли от пьяных загулов в ночных кабаках. Уже будучи женатым человеком, Блок ежедневно навещал мать, причем ничто не могло этому помешать, а придя домой, мог часами разговаривать с ней по телефону. Когда же отправлялся в путешествие, столь же постоянным было ожидание ее писем. В записных книжках он называет Александру Андреевну «Моя совесть». Ведь благодаря матери он познал в детстве огромное безоблачное счастье.

Но вернемся к детским годам Блока. Сашура был

необыкновенно красив. И очень любил гулять с дедушкой по набережной. Иногда профессор Бекетов шел на прогулку вместе со своим другом, профессором Менделеевым, и по обыкновению два этих солидных господина брали с собой детей. Тогда же известный химик познакомил Сашуру со своей дочкой Любочкой, которая была на год моложе Саши Блока. Мальчик и девочка были чудо как хороши, и прохожие, завидев эту пару, оборачивались им вслед, шепча, что детки похожи на херувимчиков. А взрослые, встретившись на следующий день, спрашивали друг друга: «Как ваш принц?» «Спасибо, шалит. А ваша принцесса?»

Возможно, эти детские прогулки и можно отнести к началу мучительного романа Блока и Любови Менделеевой, длившегося всю их жизнь. Ведь не зря потом в записных книжках Блок напишет: «У меня женщин не 100-200-300 (или больше), а всего две: одна Люба; другая – все остальные».

Однажды Дмитрий Иванович Менделеев посоветовал Андрею Николаевичу Бекетову приобрести по соседству с их имением Бобловым именьице Шахматове. Бекетов немного подумал и… решил: быть посему. Так в 1874 году было приобретено Шахматово. Летом вся большая бекетовская семья переезжала в имение. В 1881 году Сашуру в шестимесячном возрасте во время буйного цветения трав и садовых цветов впервые вывезли за город.

Лето… Синее небо и белые облака. А еще… Розовый клевер и ярко-зеленые поля ржи, с купами столетней сирени и шиповника. Вот в это чудесное место – в вечерние зори и душистую тишину, в гудение пчел и порхание бабочек – во все это Блок был тогда погружен, как в купель. Это было словно второе крещение. Конечно, чисто символическое. Ведь Сашуре было только полгода от роду. Потом каждый год его вновь и вновь привозили сюда, в этот «угол рая неподалеку от Москвы», как буквально перед самой смертью определит Шахматово сам Блок.

Погружался я в море клевера,
Окруженный сказками пчел.
Но ветер, зовущий с севера,
Мое детское сердце нашел.

Мария Андреевна Бекетова – тетя Блока, так описывала Шахматово: «Это небольшое поместье, находящееся в Клинском уезде Московской губернии, отец купил в семидесятых годах прошлого столетия. Местность, где оно расположено, одна из живописнейших в средней России. Здесь проходит так называемая

Алаунская возвышенность. Вся страна холмистая и лесная. С высоких точек открываются бесконечные дали. Шахматово привлекло отца именно красотой дальних видов, прелестью места и окрестностей, а также уютностью вполне приспособленной для житья усадьбы. Старый дом с мезонином был невелик, но крепок, в уютно расположенных комнатах нашлась и старинная мебель, и даже кое-какая утварь. Все службы оказались в порядке, в каретном сарае стояла рессорная коляска, тройка здоровых лошадей буланой масти, коровы, куры, утки – все к услугам будущего владельца.

Лес тянулся на многие версты и одной стороной примыкал к нашей земле. Помещичья усадьба… стояла на высоком холме. К дому подъезжали широким двором с округлыми куртинами шиповника. Тенистый сад со старыми липами расположен на юго-востоке, по другую сторону дома. Открыв стеклянную дверь столовой, выходившей окнами в сад, и вступив на террасу, всякий поражался широтой и разнообразием вида… Перед домом песчаная площадка с цветниками, за площадкой – развесистые вековые липы и две высокие сосны составляли группу… В саду множество сирени, черемухи, белые и розовые розы, густая полукруглая гряда белых нарциссов и другая такая же гряда лиловых ирисов. Одна из боковых дорожек, осененная очень старыми березами, ведет к калитке, которая выводит в еловую аллею, круто спускающуюся к пруду. Пруд лежит в узкой долине, по которой бежит ручей, осененный огромными елями, березами, молодым ольшаником.

Место было прекрасное… А вот описание и самого дома, который так любил Блок и после потери которого так и не смог оправиться… „Он был одноэтажный, с мезонином – в стиле среднепомещичьих усадеб 20-х или 30-х годов девятнадцатого века. Уютно и хорошо расположенный, он был построен на кирпичном фундаменте из великолепного соснового леса, с тесовой обшивкой серого цвета и железной зеленой крышей. К дому пристроена была кухня, соединенная с ним крытыми сенями… Дом состоял из семи жилых комнат – пять внизу, а две в мезонине…“»

Конечно, помещичьей усадьбой назвать его было нельзя. Да и сами Бекетовы никак не подходили на роль помещиков. Это были самые что ни есть большие труженики, которые привили и Саше Блоку огромную работоспособность. Впрочем, судите сами…

Андрей Николаевич – профессор, ректор Петербургского университета, основатель Бестужевских курсов, учитель Тимирязева, будущего ученого. О жене профессора, то есть о своей бабке, Блок пишет так:

«Жена деда, моя бабушка Елизавета Григорьевна, – дочь известного путешественника и исследователя Средней Азии Григория Силыча Корелина. Она всю жизнь работала над компиляциями и переводами научных и художественных произведений; список ее трудов громаден, последние годы она делала до 200 печатных листов в год… Оплата трудов всегда была ничтожна. Теперь эти сотни тысяч томов разошлись в дешевых изданиях, а знакомый с антикварными ценами знает, как дороги теперь хотя бы так называемые 144 тома (изд. г. Пантелеева), в которых помещены многие переводы Е. Г. Бекетовой и ее дочерей. Характерная страница в истории русского просвещения. Она знала лично многих наших писателей, встречалась с Гоголем, братьями Достоевскими, Ап. Григорьевым, Толстым, Полонским, Майковым… Я берегу тот экземпляр английского романа, который собственноручно дал ей для перевода Ф. М. Достоевский, перевод этот печатался во „Времени“.

От дедов унаследовали любовь к литературе и незапятнанное понятие о ее высоком назначении их дочери – моя мать и ее две сестры. Все три переводили с иностранных языков. Известностью пользовалась старшая – Екатерина Андреевна (по мужу Краснова). Ей принадлежат изданные уже после ее смерти две самостоятельные книги рассказов и стихотворений (последняя книга удостоена почетного приза Академии наук).

Моя мать Александра Андреевна… переводила и переводит с французского – стихами и прозой (Бальзак, В. Гюго, Флобер, Золя, Мюссе, Додэ, Бодлер, Верлен, Ришпэн).

Мария Андреевна Бекетова переводила и переводит с польского (Сенкевич и мн. др.), немецкого (Гофман), французского (Бальзак, Мюссе). Ей принадлежат популярные переделки (Жюль Верн, Сильвио Пеллико), биографии (Андерсен), монографии для народа (Голландия, История Англии и др.). „Кармозина“ Мюссе была не так давно представлена в театре для рабочих в ее переводе».

Был ли тружеником сам Блок, составивший целую эпоху в русской поэзии и оставивший после себя многотомное собрание сочинений, – не надо и говорить.

Однако вернемся к Шахматову. Вполне понятно, что своих крестьян, «мужиков», у Бекетовых не было. Ни у кого в это время уже не было. Крепостное право отменено задолго до покупки профессором Бекетовым Шахматова с землей. Крестьян можно было только нанять на работу, а те уж могли согласиться или не согласиться. Оплата была по договоренности. Цены на разные виды работ были устоявшиеся, определенные. И мужики в ущерб

себе не соглашались идти на работы. А вообще-то, как писала тетя Блока, о прислуге Бекетовы заботились очень даже неплохо, намного больше, чем о себе. И жизнь в уединенном поместье текла тихо и размеренно. Казалось, ничто в мире не сможет нарушить данный порядок вещей, изменить эту волшебную атмосферу, окружавшую юного Блока. Да и он, еще мальчик, несмотря на свой провидческий дар, ничего не знает о том, какие катаклизмы приготовило им будущее. Он бегает и резвится со своими товарищами и принимает как должное неспешный распорядок их жизни. Эти семейные обеды, которые порой Блоку кажутся такими скучными и нудными, эти чаепития, от которых он хочет как можно скорей ускользнуть и заняться тем, что ему в его годы намного более интересно… Он даже слегка выговаривает маменьке, что нельзя быть такими гурманами, ведь не хлебом единым… И дед соглашается, дескать, да в чем-то он прав, однако… От хорошего стола вреда еще никому не было. А Сашура слегка раздражается. Вот они! Эти взрослые! Даже не подозревая, что пройдет совсем немного времени и вопрос о куске хлеба станет основным и во многом определяющим самое будущее, это будет вопросом жизни и смерти.

Мария Бекетова в далеком двадцать первом будет подробно описывать обеды и уклад жизни в Шахматове. Писать и с трудом верить, что такое было… Что стояли на столе и воспринимались как нечто совершенно обычное эти блюда, что слуги с уважением относились к своим хозяевам, что… в общем было очень многое, о чем теперь можно не только не мечтать, но порою спрашивать саму себя, а было ли это? И все-таки очень хочется привести отрывок из ее воспоминаний, чтобы мы, сегодняшние, смогли в точности представить жизнь, которая была обыденностью для семейства Бекетовых и для Саши Блока.

«Шахматовский день распределялся так же как в городе: утренний чай, завтрак в час дня, обед в 6 и вечерний чай около 10, ужина не было… За чайным столом, покрытым белой скатертью, сидела… мать, облаченная в широкий капот из светлого ситца, с черной кружевной наколкой на голове, и разливала чай из большого самовара желтой меди… На столе были домашние булки, свежее сливочное масло и сливки… Отец пил чай из особой чашки, очень крепкий и сладкий с ложечкой домашнего варенья из черной смородины, которое подавалось в маленькой расписной посудине, привезенной из Троице-Сергиевой лавры… Большое значение придавалось подливе, в особенности соусам. К вареной курице с рисом, сваренным из лучшего сорта до мякоти, но непременно рассыпчатым, а не комком, подавали белый масляный соус с лимоном, слегка

поджаренной мукой; к жареному мясу часто делали соус с маринованными рыжиками (пожалуй, даже в начале двадцатых годов! – В. С.) … были в ходу такие кушанья, вроде суфле из рыбы, дичи, всегда с особыми соусами… птица резалась длинными тонкими ломтиками (не в девятнадцатом ли году все это писалось? – В. С.), а не рубилось поперек костей… Мясо резалось тонко, непременно поперек волокон… Кухарок всегда брали хороших и с большим разбором, но характерно то, что при большой гуманности и даже доброте хозяев никому и в голову не приходило, что поздний обед в летнюю пору заставляет кухарку в жаркие дни целый день париться в кухне, да и вообще иметь мало свободного времени. Правда, при ней всегда была судомойка, так что от мытья целой груды посуды она была избавлена, но беречь судомойку тоже никто не думал. Прислугу отлично кормили и очень хорошо с ней обращались, но кухарка была завалена работой. Иногда было три тестяных блюда в день, например, вареники к завтраку, пирожки за обедом и сдобные булки к вечернему чаю. Горничной было гораздо легче, тем более что прачка нанималась отдельная. И все же надо сказать, что на шахматовских хлебах и деревенском воздухе прислуга всегда поправлялась и была обыкновенно веселая. Кухарка в нашей семье считалась лицом очень важным, так как хорошей еде придавалось большое значение…»

Саше здесь, на природе, было очень хорошо. Именно в Шахматово он приглашал наиболее близких друзей, это было своего рода обрядом посвящения, показателем особой степени родства. И после… Блок приезжал сюда зализывать душевные раны и восстанавливать душевное равновесие. Поняв всю ценность этой маленькой усадьбы, мы сможем оценить, что значила для него ее потеря. Для Блока рухнул не просто мир, он потерял стержень, на котором до сих пор держался, не осталось ничего, что бы не осквернили и не разрушили.

Однако время шло, Саша поступил в гимназию, которая находилась неподалеку от новой квартиры его отчима – полковника Кублицкого, располагавшейся в казармах лейб-гвардиии Гренадерского полка, рядом с Ботаническим садом. Мальчик не тяготился новым укладом жизни, скорее гимназические будни его забавляли. Он легко ладил с одноклассниками и чувствовал себя почти взрослым. Причем настолько, что в четырнадцать лет решил стать редактором домашнего журнала «Вестник». Бабушка сочиняла стихи и поэмы, мать – сказки, а дед занялся иллюстрациями. Казалось бы прекрасное, безоблачное детство. Тогда почему, вспоминая о нем много лет спустя, поэт напишет: «Давно тайно хотел гибели».

Тайно-то тайно, но окружающие – из тех, что прозорливей, – видели это. Видели и слышали… Так, в другом дневнике, который в течение многих лет вела родная тетка Блока Мария Андреевна Бекетова, в записи от 13 августа 1904 года читаем: «Упорно говорит, что… гибель лучше всего». Возможно, уже тогда юный Саша Блок начинал «программировать» себя на гибель. Тем более что его товарищ по гимназии Николай Гун, которого приятели звали *Кокой* – юноша, по свидетельству одной наблюдательной современницы, «то веселый, то задумчивый, с ярким румянцем и болезненно худым лицом год назад покончил с собой». Блок посвятил ему два стихотворения. Одно – без названия – в начале 1898 года, другое – четыре года спустя, и вот там-то уже название было. «На могиле друга» называется это восьмистишие. Под ним дата написания – 22 января 1902 года. Двумя днями раньше, 20 января, Гун застрелился. Не побоялся умереть в пути, вернее, в начале пути – всего на два года был он старше поэта, который пообещал догнать его. «Я за тобой, – писал он, – вскоре за тем же сном в безбрежность уплыву». Однако до того, как Блок станет со всех сторон рассматривать мысль о самоубийстве и точно новый костюм примеривать на себя, еще несколько лет.

Тем временем в доме Бекетовых все шло в привычном русле. Продолжался и даже вышел на новый виток культ Сашуры. И хотя мальчик взрослел, родные предпочитали этого не замечать. Только одна Мария Бекетова как-то обмолвилась: «Странно, что Сашура совсем не увлекается девочками. Они его не интересуют. А уже пора бы…» Действительно пора… Много лет спустя Любовь Дмитриевна напишет: «Физическая близость с женщиной для Блока с гимназических лет это – платная любовь и неизбежные результаты – болезнь. Слава богу, что еще все эти случаи в молодости – болезнь не роковая. Тут несомненная травма в психологии. Не боготворимая любовница вводила его в жизнь, а случайная, безликая, купленная на [одну ночь] несколько [часов] минут. И унизительные, мучительные страдания… [Даже] Афродита Урания и Афродита площадная, разделенные бездной… Даже К. М. С. – не сыграла той роли, которую должна была бы сыграть; и она более „Урания“, чем нужно бы было для такой первой встречи, для того, чтобы любовь юноши научилась быть любовью во всей полноте. Но у Блока так и осталось – разрыв на всю жизнь».

Вот и получилось, что физическая близость в понимании Саши – это что-то грязное, отчего еще и болезнь случается. Это нужно по необходимости, по зову плоти, но уж никак не души. Но вот наступает 1897 год, когда Блок с матерью и тетушкой едет в

Бад-Наугейм, водный курорт в Германии, где дамы намереваются лечить сердце и нервы.

Глава 3
Первая любовь

Первая любовь – важнейшее событие в жизни любого человека. Трогательное и… ранимое чувство. Поэтому к нему нужно относиться трепетно и бережно, чтобы, не дай бог, не травмировать душу юного влюбленного. Но в случае с Блоком все пошло по самому худшему сценарию, и именно в этом увлечении нам следует искать ответы на весьма каверзные вопросы, которые задает исследователям личная жизнь поэта и его своеобразное отношение к женщинам.

Мы вполне можем себе представить гимназиста, который впервые выехал с тетушкой и маменькой за границу. Юношу с очень тонкой нервной организацией, романтика и восторженного мечтателя. И вот на одной из прогулок, когда он покорно нес за маменькой и тетушкой пледы и зонты, он неожиданно для себя самого, увидел Её. Увидел и остановился, пытаясь совладать с бешено стучащим сердцем. У Сашуры в то мгновение перехватило дыхание, так была хороша эта женщина. Звали ее – Ксения Садовская. Красивая темноволосая дама с точеным профилем, чистыми синими глазами и протяжным голосом. Ей было тридцать семь лет. Да, да – та самая К. М. С., о которой много лет спустя напишет Любовь Дмитриевна.

Эта женщина сыграла огромную роль в жизни поэта, более того, именно любовные отношения с ней и определили не только само будущее Блока, но и катастрофическое крушение его брака. И конечно же госпожа Садовская заслуживает того, чтобы как можно пристальнее присмотреться к ней и к тому, как впоследствии сложилась ее судьба.

Ксения Островская родилась в 1859 году в семье мелкого акцизного чиновника, в маленькой захудалой усадьбе на Херсонщине. Жизнь поначалу ее не баловала. Жалованье отец получал весьма и весьма скромное, и большая семья едва сводила концы с концами. Вечная нехватка денег не могла не сказаться на отношениях, царящих в доме. Атмосфера вечных скандалов, разбирательств и попреков, точно плотный завес целлофана, окутывал дом, где каждый задыхался и хотел как можно быстрее вырваться «на свежий воздух». Нервная, скупая на сердечную ласку, издерганная бесконечными долгами мать, безликий отец, тянувший лямку незаметного чиновника, с вечной, слегка виноватой полуулыбкой на помятом лице… И синеглазая красавица Оксана. Она была точно солнечный лучик. Да и

любили ее больше остальных детей. Особенно отец. Он все норовил погладить по голове, незаметно сунуть в руку конфету или пряник… Ему нравилось, когда дочь играла по вечерам на стареньком расстроенном фортепьяно, почти неслышно напевая украинские песни или манерные французские романсы.

Мать Оксаны не понимала и не приветствовала проявление подобных «телячьих нежностей». Она считала, что нечего при эдакой нищете витать в облаках, нужно заниматься куда более прозаичными вещами и раз и навсегда спуститься с небес на землю. Поэтому, когда отец стал настаивать на том, чтобы дать Ксюше хорошее образование, дом превратился в некое подобие театра военных действий. Поскольку жена была категорически против. Противостояние длилось довольно долго. Но… В конечном счете глава семейства смог одержать верх и судьба девочки была решена в пользу частной гимназии в Одессе. Для юной красавицы мир раздвинул свои границы, и она смогла вырваться из душной сутолоки отчего дома. Однако… Мир, куда она попала, ненамного отличался от привычного уклада жизни, и Ксения поняла: чтобы двигаться дальше, нужно приспосабливаться и выживать в любых условиях. И она старалась. Причем очень. А по ночам грезила о златокудром красавце принце, который появится однажды в ее жизни и увезет на белом коне, в тихую и светлую гавань.

Именно в гимназии преподаватели обратили внимание на красивый и бархатистый голос Ксении и посоветовали ее родителям продолжить обучение девочки в Санкт-Петербургской консерватории. Отец, мужественно преодолев возражения матери Ксюши, отправил дочь в столицу. Казалось, судьба оперной певицы ей предрешена. Более того, учителя видели в Оксане будущую звезду, способную навсегда покорить сердце капризной публики. Но… Не случилось. Когда Ксения уже заканчивала консерваторию по классу пения, ее поразил тяжелый ларингит. Эта болезнь горла обычное дело для очень и очень многих в сыром климате столицы. Денег на лечение в Италии и специальные уроки по сохранению и постановке голоса у отца не было. Как он ни любил Оксану, но должен был также думать о ее братьях и сестрах. Они уже стали совсем большими, и нужно было позаботиться об их образовании.

Ксении пришлось мечту о карьере певицы оставить навсегда. Она очень тяжело пережила внезапное крушение всех своих честолюбивых надежд. В одночасье рухнуло все, чем жила долгие годы. Теперь ее навсегда ждет нищета в родительском доме. Однако Ксения не собиралась сдаваться. Несмотря на все запреты врачей, вечерами она продолжала петь в узком кругу друзей, а

днем… служила в скучном Статистическом комитете, зарабатывая копейки, на которые с трудом можно было прожить, не то что хорошо и достойно выглядеть. Спасала девушку природная красота и отличная фигура. Экономя буквально на всем, выкраивала деньги на оперу. Куда часто ездила, особенно осенью, когда в Мариинском по желанию государыни императрицы Александры Федоровны неизменно давали серию опер Вагнера. На одном из таких длинных оперных спектаклей «провожатым-пажом» Ксении стал Владимир Степанович Садовский – юрист, знаток международного торгового права, некогда доцент Новороссийского университета, человек с положением и обеспеченный; товарищ – т. е. заместитель, в современном понимании этого слова, министра торговли и промышленности. Он безумно увлекся Ксенией Михайловной, и эта встреча все решила в ее судьбе. Замужество стало избавлением от множества проблем. Оно давало ей самое главное – безбедную спокойную жизнь, относительную свободу и… рядом с ней оказался человек, по-настоящему любящий ее, готовый выполнить любой каприз обожаемой Оксаночки. Разве этого мало для счастья? Ксения считала, что вполне достаточно. И совершенно неважно, что она его не любит. Зато она действительно уважает этого не по годам умного молодого человека и прекрасно к нему относится.

Садовский не обманул ожиданий Ксении. У нее действительно было все, о чем она только мечтала в отцовском доме. Роскошная квартира в Петербурге, уютное имение под Новороссийском, материальная обеспеченность. Ксения родила двух дочерей и сына, и… в сущности была довольна своей жизнью. Немного скучновато, порой напоминает теплый уютный пенал, где в надлежащем порядке лежат карандаши и ручки… Но зато спокойно и надежно.

И вот наступил май 1897 года, когда на знаменитый германский курорт Бад-Наугейм приехала госпожа действительная статская советница. Ксения хотела подлечить подорванное третьими, тяжелыми родами сердце и расшалившиеся нервы. И, разумеется, она никак не рассчитывала встретить на блестящем, модном светском курорте любовь… В ее-то возрасте?! Полно! Легкий адюльтер – это да. Вполне возможно. Даже нужно, чтобы снова почувствовать вкус жизни. Но серьезное чувство – увольте. Слишком многое поставлено на карту, чтобы так рисковать. Она хорошо знала себе цену, опытная светская львица, кокетка и говорунья, в облаке пышных золотых волос, в тени неизменных широкополых шляп с перьями, и омуте огромных глаз, подведенных темными, «сердечными» тенями!

Она рассчитывала развлечься и поймать в сети своего кокетства кого-то из скучающих рядом петербургских и московских светских знакомых. Но уж никак не мальчика в гимназической тужурке, с огромными глубокими глазами, смотрящими прямо в душу.

Александра Андреевна заметила то восхищение, с которым Сашура смотрел на южную красавицу. И смутная тревога шевельнулась в ней. Мать Блока поначалу не придала своему первому ощущению должного значения. Она вежливо раскланялась с госпожой статской советницей. Ксения также любезно ей ответила и лишь чуть более внимательно присмотрелась к женщине. Она отметила тонкую и вертлявую, к тому же чересчур экзальтированную даму. Более того, мать Блока, склонная к излишней театральности, привлекала внимание публики напыщенностью не только всех своих жестов и движений, но даже и просто – молчания. «Весьма неприятная особа», – подумала Ксения. И тут… едва дольше, чем должна была, задержалась взглядом на мальчике, который точно послушный паж стоял рядом с госпожой Кублицкой. Он был высок, строен, в ореоле золотых волос, словно сошедший с древней росписи не то заморский витязь, не то царевич из сказки. Что-то смутно знакомое шевельнулось в душе Ксении. А вечером обе дамы уже обсуждали такие животрепещущие темы, как отношения матерей и детей. Александра Андреевна заметила, что у них с Ксенией много общего. Они почти ровесницы, и обе излишне пылко обожали своих детей. Ксения так же, как и мать Блока, носилась со своими тремя, вечно болезненными детьми. А может быть, она таким образом восполняла потребность в не менее пылком обожании ее собственной персоны?

Тетушка Блока, писательница Мария Андреевна Бекетова, самыми невинными фразами в «лакированной» биографии племянника изображает в лице Ксении Михайловны опытную светскую хищницу: «Она первая заговорила со скромным мальчиком, который не смел поднять на нее глаз, но сразу был охвачен любовью. Красавица всячески старалась завлечь неопытного мальчика».

А в личном дневнике Мария Андреевна Бекетова выскажется о первой возлюбленной кумира-племянника со всей пылкой яростью старой девы: «Он, ухаживая впервые, пропадал, бросал нас, был неумолим и эгоистичен. Она помыкала им, кокетничала, вела себя дрянно, бездушно и недостойно».

Да, красавец юноша с античными чертами лица и подлинником шекспировских трагедий и сонетов под мышкой почти мгновенно отбросил в сторону надоевшие пледы и

нравоучения сухопарой тетушки и матушки-полковницы. Деспотичная, высокомерная, неуправляемая, приправленная Достоевским, Ницше и цыганским хором, в одночасье покинутая верным обожателем матушка и верная тетушка закатывали ежедневные истерики, ломая пальцы. Матушка пила пузырьками ландышевые капли, но сын впервые был равнодушен ко всему на свете, кроме синеглазой советницы!

Ухаживал он не очень умело, и оттого-то это выглядело в глазах Ксении Михайловны особенно трогательно: ежеутренние розы на крыльце, теневой конвой, шелест и хруст в зарослях ольхи за рамами спальни в отеле.

Поначалу Ксения даже растерялась. Она была совершенно не готова к такому повороту событий. И возможно, именно из-за этого повела себя несколько смешно и нелепо. В лучших традициях сентиментальных романов, Ксения стала делать вещи, которые никогда не позволила бы себе с мужем. Она капризничала, то розы не того цвета, не той свежести, а то вообще она больше любит лилии. Потом принялась тиранить бедного юношу. За слишком вольный взгляд она публично ударила Сашуру зонтиком по руке прямо возле источника вод. Изумленная публика тотчас посчитала своим долгом рассказать об этом матери юноши, прибавив, что парня нужно срочно спасать. Но Блок не хотел, чтобы его спасали. Он готов был снести все что угодно, лишь бы добиться взаимности обожаемой женщины. А та, точно не зная, что ей делать, проигрывая битву сама с собой, продолжала его мучить. Садовская возвращала цветы, рвала билеты на концерт, словом, ошеломленная внезапно застигнувшим ее «кружением сердца» и тщетно борясь с этим из последних сил, то отталкивала, то привлекала. Но все это еще пуще разжигало пыл незакаленного в боях за сердце прекрасной дамы неловкого трубадура. Он почти вприпрыжку бежал на свидания на окраину городка, возле солевых градирен, или около туманного ивового озера послушно катал синеокую «похитительницу сердца» в лодке…

Но однажды… Случилось то, что неминуемо должно было случиться. То, чего жаждал Блок, и то, чего боялась Ксения, произошло. Был чудный вечер. Сатура засиделся дольше обычного. Луна только взошла, и глаза женщины сияли ярче, чем всегда. Противиться возникшей между ними магии не было сил. И вечер незаметно и плавно перешел в ночь.

Блок узнал другую сторону любви. Поначалу он был несмел, неловок, а порой с излишней поспешностью портил эти ночные часы, но Ксения, казалось, этого не замечала. Этот мальчик стал для нее точно воплощением девичьих грез о прекрасном принце,

явившемся, чтобы разбудить ее душу. Влюбленные были счастливы, не замечая туч, уже сгущавшихся над их головами.

Саша теперь возвращался домой под утро, бледный, взволнованный, и что-то усердно записывал в своей книжке-альбоме, не позволяя никому до нее дотрагиваться. Вот этими строками он открыл свой первый лирический цикл, озаглавленный тремя буквами: «К. М. С.»

Сердце занято мечтами,
Сердце помнит долгий срок,
Поздний вечер над прудами,
Раздушенный Ваш платок…

И еще, уже более определенно:

В такую ночь успел узнать я,
При звуках ночи и весны,
Прекрасной женщины объятья
В лучах безжизненной луны.

Александре Андреевне Блок этих, да и всех других, отчаянно любовных, горячечных строк – не читал. Такое было впервые! Мать Саши почувствовала себя отвергнутой. Она видела, как меняется ее Сатура, понимала, какую власть над ним обретает эта «гнусная» женщина, и… ничего не могла с этим поделать. Госпожа Кублицкая в сердцах разорвала в клочья батистовый платок, обломила трость – ручку у зонта, но… Он словно не замечал никаких признаков душевного неудовольствия матери. Александра Андреевна вместо лечения нервов извелась донельзя. Уже которую ночь она проводила без сна, долгими часами прислушиваясь, не раздаются ли Сашины шаги. Наконец она выпила несколько пузырьков с каплями и… решилась. На крайний, отчаянный шаг. Александра Андреевна нанесла «перезрелой кокетке» утренний визит, отнюдь не светский, в отчаянии пообещав «гнусной совратительнице юного дарования» все что угодно, вплоть до серной кислоты и сибирской каторги, благо положение второго мужа – гвардейского полковника – сии угрозы вполне позволяло!

Ксения Михайловна молча выслушала истерические вопли ревнивицы, чему-то задумчиво улыбнулась, и… отворила входную дверь. Ошеломленная таким холодным приемом госпожа Пиотух-Кублицкая в тот же вечер решила увезти сына в фамильную усадьбу Шахматово. Внешне он не сопротивлялся.

Но все когда-то заканчивается. И к огромной радости матери Блока, банальный курортный роман сына закончился через месяц почти ничем. Что могли значить какие-то трепетные обещания «не забывать, писать» и подаренная у двери купе полуувядшая роза?! Александра Андреевна, внутренне торжествуя, писала домой в своем привычном ироническом стиле: «Сашура у нас тут ухаживал с великим успехом, пленил барыню, мать троих детей и действительную статскую советницу. Смешно смотреть на Сашуру в этой роли… Не знаю, будет ли толк из этого ухаживания для Сашуры в смысле его взрослости, и станет ли он после этого больше похож на молодого человека. Едва ли».

В разговоре же с растерянным сыном мать позволила себе еще более резкие замечания, на грани изощренного цинизма, облив его горячие, трепетные чувства бурным потоком холодного презрения: «Куда деться, Сашурочка, возрастная физика, и, может, так оно и лучше, чем публичный дом, где безобразия и болезни?» Блок побледнел. Если бы мать ударила его по лицу, это было бы куда легче снести. Он молча стоял и смотрел на нее, не в силах «переварить» услышанные фразы. Вот именно эти несколько роковых слов и оказались той миной замедленного действия, которая постепенно разрушила его жизнь. В сердце его с той поры тихо и прочно вошла крохотная ледяная иголка, постепенно выросшая в айсберг, сковавший душу плотным панцирем. Разбить холодный панцирь снежного принца Кая будут пытаться все последующие Прекрасные Дамы Блока, во главе с Любовью Дмитриевной Менделеевой. Все, увы, напрасно!

Опрощение и насмешка, право же, лучшее лекарство от юной любовной лихорадки! Ладьи, лебеди, луна, романтические вздохи, туманные ивы, стараниями отчаянно возревновавшей *maman* превратились в плоскую литографию на облупленной стене курортного отеля. Но Александра Андреевна плохо знала собственного сына. По возвращении в Россию тайная восторженная переписка с «синеглазой певуньей» продолжилась.

Вот строки из самого первого письма Блока Садовской от 13 июля 1897 года, отправленного в Бад-Наугейм еще из Шахматова:

«Ухожу от всех и думаю о том, как бы побыстрее попасть в Петербург, ни на что не обращаю внимания и вспоминаю о тех блаженных минутах, которые я провел с Тобой, мое Божество».

В других многостраничных письмах он сравнивал Садовскую с «розой юга, уста которой исполнены тайны, глаза – полны загадочного блеска, как у сфинкса, который мгновенным порывом страсти отнимет всю душу у человека, с которым он не может бороться, который жжет его своими ласками, потом обдает холодом, а разгадать его не может никто…». Разумеется,

романтичный юноша преувеличивал, но что-то уже сумел разглядеть вещим, всегда взрослым, взором истинного Поэта.

Что-то в ней настоящее, непритворное, трагическое. Из чего позже возникнет драма ее собственного, покинутого, остывшего, растерзанного сердца:

Страшную жизнь забудем, подруга,
Грудь твою страстно колышет любовь.
О, успокойся в объятиях друга,
Страсть разжигает холодную кровь.
Наши уста в поцелуях сольются,
Буду дышать поцелуем твоим.
Боже, как скоро часы пронесутся…
Боже, какою я страстью томим!..

Они увиделись лишь восемь месяцев спустя, после возвращения Садовской в столицу. Что мешало более раннему свиданию и что стояло за словами «страшная жизнь» для Поэта, гадать бесполезно. Были ли это продолжающиеся истерики матери или украдкой прочтенные чужими глазами письма и дневники, язвительные насмешки и уколы, мелочное тиранство и угрозы, обычная, убивающая поэзию души, рутина жизни – неизвестно. Известны лишь строки записки А. Блока Садовской, вскоре после их встречи, 10 марта 1898 года. Вот они:

«Если бы Ты, дорогая моя, знала, как я стремился все время увидеть Тебя, Ты бы не стала упрекать меня»… И далее, с обезоруживающей наивностью: «Меня удерживало все время все-таки чувство благоразумия, которое, Ты знаешь, с некоторых пор, слишком развито во мне, и простирается даже на те случаи, когда оно совсем некстати». (Росла, росла льдинка, небрежно, цинично оброненная матерью в сердце своего обожаемого златокудрого пажа-принца. Росла незаметно, но – без остановки.) Временами ему хотелось крепко зажмуриться и унестись вместе с любимой на недосягаемые высоты, но резкий толчок в сердце воспоминаний, посреди самых пылких мечтаний, отрезвлял душу. Слышался насмешливый голос матери:

«Возрастная физика, милый друг, что делать? А может, оно и лучше, чем публичный дом?»

Впрочем, временами он посылал собственное благоразумие к черту и часами ждал Ксению Михайловну в закрытой темной карете в условленном месте или у ворот ее дома. Были тихие, уединенные прогулки по ажурным мостикам Елагиного острова, в темных зарослях парка, были стремительно бегущие часы в неуютных номерах гостиниц…

Было все. И даже – второй визит взвинченной от раскрывшейся тайны затянувшегося безумия *maman* к госпоже Садовской. В этот раз «королева-мать» оставила высокомерный, грозящий тон и уже просто умоляла «обольстительницу-сирену» быть благоразумной и отстранить от себя юношу, окончательно потерявшего голову!

Но едва Ксения Михайловна робко заговорила с Александром об этом самом благоразумии, супружеском долге и прочих скучных вещах, как сошедший с ума Блок впал в экстаз моралиста. Вот строки его письма:

«Я не понимаю, чего Ты можешь бояться, когда мы с Тобою вдвоем среди огромного города, где никто и подозревать не может, кто проезжает мимо в закрытой карете… Зачем понапрасну в сомнениях изводить всю жизнь, когда даны Тебе красота и сердце? Если Тебя беспокоит мысль о детях, забудь их хоть на время, и Ты имеешь на это полное право, раз посвятила им всю свою жизнь…»

Ксения Михайловна пыталась истово следовать эгоистичным советам своего юного любовника, но вскоре ее слепая преданность и бесконечные ревнивые сцены, упреки и мольбы о прощении (на почве подавленных душевных угрызений совести, быть может!) стали всерьез тяготить вспыльчивого, нервного юношу. Ему изрядно хватало опеки, слез и укоров дома, и в любовных отношениях все эта излишняя экзальтированная нервозность и «романтическая сладость примирений и слез» была ему уже абсолютно не нужна.

Душа его леденела все больше. А свидания все чаще прерывались ссорами. Переписка, длящаяся с перерывами до 1901 года, постепенно сводилась к выяснению отношений и вопросу о возвращении фотографий и писем с обеих сторон… Близился грустный и совершенно банальный финал курортного романа.

В итоге у него осталось двойственное отношение к сексу, а временами перед физической близостью его охватывали приступы отвращения. Блок упорно принимался искать причины и следствия и пришел к выводу, что любовь может быть только «чистой» и возвышенной. А все остальное только по необходимости.

В 1900 году, еще до брака с Любовью Дмитриевной, между Блоком и Ксенией Садовской произошло последнее решительное письменное объяснение, во время которого она яростно проклинала свою судьбу за то, что встретила Александра.

Для Ксении это стало настоящим ударом. Она четко поняла, что ни муж, ни дети не держат ее… Она потеряла стержень, на котором, как ей казалось, незыблемо держалась ее жизнь. Муж

Ксении, видя душевное расстройство любимой женщины, чтобы поправить здоровье, в срочном порядке вновь отправляет ее на воды. И вот, будучи одна, Ксения садится и начинает писать Блоку письмо, полное любви и страсти. Она пытается из долин Южной Франции позвать Блока за собой еще раз в Бад-Наугейм, где им было так хорошо, где он столь пламенно любил. Но… Для Блока все уже в прошлом. Более того, он решительно противится властным призракам памяти. Садовская в письме в сердцах называет его «изломанным человеком». Он парирует вяло и вежливо, называя некогда «дорогую Оксану» на «Вы» и «Ксенией Михайловной».

В Бад-Наугейм Блок приедет девять лет спустя, в 1909 году, вместе с женою, в самую тяжелую, смутную пору своей жизни, после всего пережитого – трагедий взаимных измен, прощений, разрывов и возвращений, после маленькой могилы на Волковом кладбище – сына Любови Дмитриевны от очередного «возлюбленного на час». И тут, в почти не изменившихся за девять лет местах, воспоминания вновь нахлынут на него с такою силой, что ему останется только облечь их в поэтическую форму, чтобы они не разорвали болью почти изношенное, растравленное сердце:

Все та же озерная гладь,
Все так же катет соль с градирен.
Теперь, когда ты стар и мирен,
О чем волнуешься опять?
Иль первой страсти юный гений
Еще с душой не разлучен,
И ты навеки обручен
Той давней, незабвенной тени?

Так появится цикл «Через двенадцать лет» – одна из драгоценностей любовной лирики Блока. Он снова, как наяву, услышит гортанные звуки голоса своей давней подруги, вспомнит вкус ее губ, торопливую нежность поцелуя.

Поэт посылает что-то из строк матери, как было всегда, и скоро до него неожиданно доходит ложный слух о смерти Ксении Михайловны. Тонкая интрига почти удалась. Как еще могла бороться неукротимая ревность с вечностью любви? Только под крылом смерти, увы!

Постаревший Кай, получив известие, кривит губы в ледяной усмешке: «Однако, кто же умер? Умерла старуха. Что же осталось? Ничего. Земля ей пухом». Но наутро после неожиданной вести рождаются строки – финал, жемчужина

цикла:

Жизнь давно сожжена и рассказана,
Только первая снится любовь,
Как бесценный ларец перевязана
Накрест лентою алой, как кровь.
И когда в тишине моей горницы
Под лампадой томлюсь от обид,
Синий призрак умершей любовницы
Над кадилом мечтаний сквозит.

Поистине право говорить о первой любви имеет только Поэт. Он и сказал. Навсегда. Поседевшей, ревнивой, властной матери оставалось только подавленно молчать. Было ли в этом молчании смирение, неизвестно. Навряд ли… Если только перед мощью Таланта. Больше о госпоже Садовской упоминаний ни в семейных разговорах, ни в переписке никогда не возникало.

А между тем она жила рядом с Блоком, в Петербурге, ни разу с ним не столкнувшись, ни в толпе, ни в театре, и ничего толком не зная о литературной славе былого поклонника! Вращалась она совсем в другой среде, а поэзией, после ожегшего ее душу романа, – не интересовалась. Кроме того, из-за здоровья детей она много времени проводила за границей, то во Франции, то в Италии, кочуя по курортам. Со стареющим мужем отношения не складывались, нарастала холодность, отчужденность.

В 1916 году тайный советник Владимир Садовский по состоянию здоровья вышел в отставку. Материальное положение семьи сильно пошатнулось. Взрослые дети разлетелись в разные стороны.

Похоронив мужа в 1919 году, во время разрухи и ужасов Гражданской войны, Ксения Михайловна, еле живая от голода, добралась до Киева, где жила ее замужняя дочь, потом перебралась к сыну в Одессу. В пути – нищенствовала, собирала в поле колосья незрелой пшеницы, чтобы как-то утолить голод. В Одессу Ксения Михайловна приехала с явными признаками тяжелого, неизлечимого душевного заболевания, и почти сразу попала в лечебницу.

Молодой, внимательный доктор, пользовавший пациентку, большой поклонник поэзии Александра Блока, тотчас заметил, что инициалы ее: «К. М. С.» – полностью совпадают с легендарным именем, воспетым Поэтом. Он стал осторожно расспрашивать.

Выяснилось, что старая, неизлечимо больная, раздавленная жизнью женщина и вознесенная звоном рифм в поднебесье

Поэзии красавица – одно и то же лицо.

О посвященных ей бессмертных стихах она услышала впервые. Когда их прочли, неудержимо разрыдалась.

В 1925 году Ксения Михайловна Островская-Садовская умерла. На одесском кладбище прибавился сиротливо-грубый каменный крест.

Но это не конец истории. Когда после похорон Ксении стали разбирать ее нищенские лохмотья, то обнаружили на дне тощего узелка тонкую пачку писем, перевязанную алой лентой, от некоего влюбленного в даму четверть века назад гимназиста, а затем и студента. Это было все, что она захотела сохранить из отрезка Жизни, Судьбы, длиной в шестьдесят шесть лет… Это было все, что ей стоило хранить.

Глава 4
Появление прекрасной дамы

Конечно, и мать Блока, и его тетушка прекрасно понимали, что их Сашуре пора влюбиться. Но, помня о его диком увлечении статской советницей, они до безумия боялись нового объекта любви их неуравновешенного «принца». И поэтому, когда обе дамы стали замечать, что Саша стал проявлять интерес к Любе Менделеевой, облегченно вздохнули. Да, это действительно то, что нужно. Девушка их круга, более того, дед Сашуры и отец Любы много лет дружат. Нет, определенно лучшей избранницы для юноши и не придумать. Но они даже представить себе не могли, чем обернется для Саши это увлечение.

Нам же, для того чтобы понять, почему любовь к простой земной девушке стала для Блока возвышенным поклонением Прекрасной Даме и принесла много горечи ему и Любе Менделеевой, нужно снова вернуться в Шахматово.

Шахматово вряд ли стало бы так значимо для поэта, если бы в семи верстах от него на высоком, господствующем над местностью холме не стояло село Боблово, где жил Дмитрий Иванович Менделеев.

Это именье великий ученый купил в 1865 году, из-за грандиозных видов, открывающихся с холма. Приехал только посмотреть, но как встал на холме лицом к раскинувшейся перед ним русской земле с холмами, долинами, лесами, множеством одновременно обозреваемых деревенек и церквушек, с пышными облаками, так и не захотел уходить с этого места.

В Боблове у Менделеева был просторный дом, оборудованная лаборатория, где Дмитрий Иванович проводил опыты по метеорологии, агрохимии и просто химии. Да и все бобловские поля были для ученого своеобразной лабораторией.

Вот так, почти как в сказке. В Шахматове рос прекрасный принц, а в Боблове подрастала красавица принцесса. Мальчик к тому времени, о котором идет речь, уже познал первые опыты плотской любви, знал, что нравится девушкам, и уже стал понемногу уставать от игр с племянниками и сверстниками. Беганье по саду, короткие прогулки с тетками и далекие прогулки с дедом-ботаником начинали утомлять. Блоку хотелось самому узнавать и окружающее его пространство и выстраивать отношения с соседями. Так постепенно он стал осваивать окрестности с болотами, оврагами, лесными тропами, раздольными лугами, ручьями, полянами. Неспокойный дух Саши

требовал чего-то большего, чем простые гуляния, и уж тем более его не прельщало ни в каком виде мирное сидение с удочкой у реки, распивание чаев с матушкой и тетушками. Он хотел чего-то совсем иного. Поэтому регулярно совершал ночные прогулки в ближайшее село… А потом… Блок не был бы Блоком, если бы не стал частым гостем на местном кладбище. Близость могил, крестов, кладбищенской церкви привносила свою лепту в настроение этих ночных прогулок.

В такие смутные дни внутренних исканий он поехал к другу деда в Боблово. И после все аккуратно и педантично описал: «Дмитрий Иванович играл очень большую роль в бекетовской семье. И дед и бабушка мои были с ними дружны. Менделеев и дед мой вскоре после освобождения крестьян ездили в Московскую губернию и купили в Клинском уезде два имения по соседству: менделеевское Боблово лежит в семи верстах от Шахматова, я был там в детстве, а в юности стал бывать часто».

Конечно, он бывал в Боблове. Вот однажды в безоблачный июньский день, в мягкой шляпе и лакированных сапогах, Александр Блок приехал в гости. Люба вышла встречать гостя в розовой блузке – шестнадцатилетняя, румяная, золотоволосая, строгая. Через двадцать с лишним лет, перед самой смертью, Блок напишет: «Розовая девушка, лепестки яблони». Встреча на дощатой веранде бобловского имения определила всю дальнейшую жизнь и его, и ее – потому что с того дня судьбы этих двоих были связаны нераздельно.

Никакой мистики в их отношениях пока нет. Да и трудно даже представить, откуда ей взяться. Ведь дом у Менделеева был как дом, и Люба была как Люба – здоровая, румяная, русая девушка. И даже если влюбленность и окутывала некой романтической дымкой ее облик, то совершенно в ином русле. Блок всерьез увлекся театром и решил организовать домашнее театрализованное представление. Какую пьесу поставить?.. Разумеется Шекспира! И разумеется Гамлета! Он будет принцем датским, а Любочка Офелией. В успехе постановки никто и не сомневался. Ведь Сатура уже давно декламировал Пушкина, Жуковского, Тютчева, модного тогда Апухтина и был чертовски хорош собой: со строгим, будто матовым лицом, с шапкой роскошных пепельных кудрей, безупречно статный и изысканно вежливый… Люба была там, в этом большом крепком доме, где отец, скрывшись в своей лаборатории, проводил свои невероятные опыты. Девушка поджидала Блока, но старалась ничем не выдать своего нетерпения. Она сидела в своей комнате, окна которой скрывались за огромным трехсотлетним дубом, и расчесывала свои прекрасные волосы. Раздался стук в дверь… На

пороге возник Саша Блок и стал вести с Любой длинный разговор о театре и о постановке Гамлета. Девушка оказалась завзятой театралкой и тоже мечтала о сцене. В срочном порядке было решено приняться за постановку пьесы.

Тот спектакль прошел один-единственный раз на грубо сколоченной сцене, перед сотней человек, и было это в позапрошлом веке. Но тогда между Гамлетом и Офелией пробежало нечто, чего не предполагалось по Шекспиру, и чему потом будет посвящен не один цикл блистательных стихов Александра Блока. А началось все в маленькой, наспех оборудованной гримерке. Люба в полупрозрачном платье, с венком из полевых цветов на длинных распущенных волосах, а Саша Блок в черном бархатном берете, примостился у ее ног. Неожиданно, то ли от волнения, то ли от накативших на них чувств, они стали говорить о чем-то очень личном. А главное, смотрели друг другу в глаза и становились все ближе и ближе. После этого разговора, когда между ними промелькнула та единственная искра, о которой столько пишут поэты и писатели, они вышли на сцену.

Потом Мария Бекетова еще долго будет вспоминать об этом спектакле и запишет: «О главных играющих… Стихи они оба произносили прекрасно, играли благородно, но в общем больше декламировали, чем играли… На Офелии было белое платье с четырехугольным вырезом и светло-лиловой отделкой… В сцене безумия слегка завитые распущенные волосы были увиты цветами и покрывали ее ниже колен. В руках Офелия держала целый сноп из розовых мальв, повилики и хмеля, вперемешку с другими полевыми цветами… Гамлет в традиционном черном костюме, с плащом и в черном берете. На боку – шпага».

Об этом напишет лирические стихи и Саша Блок. А много лет спустя признается: «Мои лирические стихи… начиная с 1897 года можно рассматривать как дневник». И дальше он будет писать, стараясь запечатлеть свою любовь к этой строгой, суровой девушке. «Помню ночные возвращения из Боблова шагом, осыпанные светлячками кусты, темень неприглядную и суровость ко мне Любовь Дмитриевны».

А потом лето кончилось. Она доучивалась в гимназии, он ходил в университет. Виделись мало, он был – весь порыв и ожидание, она – холодна и недоверчива. Лето 1899-го прошло спокойно: на столетие со дня рождения Пушкина играли сцены из «Бориса Годунова» и «Каменного гостя». Блок снова томился и выжидал, Люба казалась безразличной. На следующее лето к спектаклям Блок охладел, а вернувшись в Петербург, перестал бывать у Менделеевых. Неизвестно, как бы сложились дальше эти

странные, нервозные и недосказанные отношения, если бы не его величество всемогущий Случай.

На Пасху 1901 года Сашура получил в подарок от матери книгу стихов Владимира Соловьева… и погиб. Почему погиб? И чем же мог настолько покорить его Соловьев, чтобы изменить свою жизнь? Для того чтобы это понять, нужно окунуться в атмосферу той России, в которой жил Блок. А точнее в модные течения, царящие в литературе. Обратимся к воспоминаниям Нины Берберовой. Она пишет: «К 1890 году, в эпоху, которую обычно именуют „эпохой политической реакции“, в русской литературе возобладала примитивная „гражданственность“. Она шла вразрез с великой русской поэтической традицией – традицией Пушкина, Лермонтова, Тютчева. Некрасов повел русскую поэзию по тупиковому пути: политическая тематика, бунт против режима, любовь к униженным… От писателя требовали, чтобы он служил общественным интересам. От поэта ожидали сострадания к „страдающим братьям“ или борьбы за лучшее будущее. К месту и не к месту вспоминали слова Некрасова:

Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан.

Те же, кто не желали быть прежде всего „гражданами“ и хотели оставаться поэтами, искали прибежища в философии…»

Среди поэтов-философов особенно выделялся Владимир Соловьев. Его считают одним из первых «чистых символистов». В основном он писал о том, что земная жизнь – всего лишь искаженное подобие мира «высшей» реальности. И пробудить человечество к истинной жизни может только Вечная Женственность, она же Мировая Душа. Впечатлительный, тонко чувствующий Блок сразу поддался этому учению. И к 1898 году Блока целиком и полностью захватила идея: Вечная Женственность стремится воплотиться в его поэзии не как объект зарождающейся любви, а как смысл и цель мироздания. И благодаря поэзии Владимира Соловьева, перегруженной идеями апокалипсиса, насквозь пронизанной духом Фауста Гёте, для Блока все то, что почти на уровне подсознания зрело в душе, вдруг обрело форму. И потом он сам об этом напишет: «Семейные традиции и моя замкнутая жизнь способствовали тому, что ни строки так называемой новой поэзии я не знал до первых курсов университета. Здесь, в связи с острыми мистическими и романтическими переживаниями, всем существом моим овладела поэзия Вл. Соловьева. До сих пор мистика, которой был насыщен

воздух последних лет старого и первых лет нового века, была мне непонятна; меня тревожили знаки, которые я видел в природе, но все это я считал субъективным и бережно оберегал от всех». Поэтому Блок без долгих размышлений и определил суровую Любу в носительницы той самой Вечной Женственности и заодно – в Прекрасные Дамы.

О своих чувствах Саша не рассказывает никому, кроме матери. Александра Андреевна поддерживает сына.

Он по-прежнему поглощен своим увлечением театром и старается не пропускать ни одного стоящего спектакля. И о чудо!.. На премьере встречает ее! Прекрасную Даму! Давали короля Лира. Люба сидела полностью растворившись в действии пьесы. Тем более что Лира играл сам Салиньи. Блок подошел к ней. Люба подняла на него глаза и удивилась, как же он изменился. И как же стал хорош! Они заговорили о чем-то совсем незначащем. Блок больше молчал. Теперь он стал совсем немногословен. И все же поразил Любу своей начитанностью. Из театра вышли вместе. Падал снег и кружил точно рой веселых белых мух. Саша прочел ей стихи. Но Люба их не совсем поняла. «Нет, все-таки очень странный юноша, этот Саша Блок» – подумала про себя Прекрасная Дама, даже не догадываясь, что ее уже возвели на пьедестал. А Блок шел рядом и смотрел на красивое, суровое лицо девушки. Мимо пробежал мальчишка – разносчик газет и закричал: «Самоубийство студента! На первой полосе!»

«Да, – подумал Блок, – если она не ответит мне взаимностью, останется только застрелиться». А еще… Он подумал, что роман с Ксенией чересчур затянулся и пора с этим что-то решать. Но решать не хотелось. Хотелось, чтобы оно все как-то само собой закончилось, без бурных объяснений, мелодрам и прочей ерунды. От одной мысли, что предстоит разговор с Ксенией, ему становилось совсем грустно и даже тошно. А Люба все шла и шла впереди него, не зная о том, что его тревожит.

В этом же году Блок пишет изумительные стихи о Прекрасной Даме, и созданное им за последующие три года останется в русской литературе непревзойденным образцом чистоты, возвышенности и очарования. Но об этом он еще и сам не знает. Зато знает точно, что сделает утром следующего дня…

С утра он пойдет в оружейную лавку и купит себе револьвер, спрячет его в нагрудный карман и будет искать встречи с Любовью Дмитриевной. Если же она откажет ему во взаимности, то решительно и непременно застрелится. Однако к вечеру он уже был в том особом состоянии, когда его воображению являлась Она. И ему дано только смотреть на нее и благословлять. Вот так,

кружа зимним вечером на Васильевском, он снова встретил Любовь Дмитриевну. Она шла на курсы. Блок пошел за ней, не спуская глаз, но все же не решаясь подойти к Прекрасной Даме. На следующий день все повторилось. И вскоре это переросло в своеобразный ритуал. Хождение около островов и в поле за Старой деревней, у устья реки. Солнце опускалось в воду, небо становилось красным, стояли короткие светлые ночи, одно время года сменялось другим, а Блок все кружил и кружил по вечернему городу, молчаливый паж Прекрасной Дамы, пытаясь прочесть знаки земли и неба. «В том же мае я впервые попробовал внутреннюю броню – ограждать себя от Ее суровости…»

Для Блока 1902 год был очень сложным. Кажется, именно тогда он стал программировать себя на гибель. Тем более что милый, славный Кока уже показал ему путь… Но что же произошло в этом году?

Один за другим, с разрывом в три месяца, покинули этот мир дед и бабушка Блока. И сам он оказался в двух шагах от гибели. На смерть деда, буквально на следующий день, он написал стихи, которые так и называются: «На смерть деда» – и которые начинаются словами: «Мы вместе ждали смерти или сна». Дождались и опять-таки не опечалились, а отпраздновали. Старец «с веселыми глазами… смеялся нам», и «было сладко» в отлетающей душе «увидать веселье». Отпраздновали, отпраздновали, чего уж там! Даже это слово – *праздновать* – пробралось в последнюю строку. А следующее стихотворение, написанное через два дня, начинается бодрым призывом: «Не бойся умереть в пути».

К кому он обращается? По-видимому, не к бабушке, которая готовилась уйти вслед за мужем, – бабушка, в общем-то, завершила свой путь (ровно на середине седьмого десятка), а к тому, кто еще действительно в пути…

Так оно едва и не вышло. Предсмертная записка, во всяком случае, уже была написана. И через десять лет Блок, отвечая на анкету «Русского слова» о самоубийствах, напишет, что «десятки видимых причин, заставляющих людей уходить из жизни, ничего до конца не объясняют; за всеми этими причинами стоит одна, большинству живых не видная, не понятная и не интересная». И добавит решительно: «самоубийств было бы меньше, если бы люди научились лучше читать небесные знаки».

Сам он «небесные знаки» читал превосходно, лучше, надо полагать, чем земные, но это не помешало ему вплотную приблизиться к грозному рубежу…

Предсмертная записка Блока написана ровным крупным почерком, без единой помарки. Кому же она предназначалась?

Записка, начинающаяся с классического: «В моей смерти прошу никого не винить»? Никому конкретно, но… Можно с достаточной смелостью утверждать, что Блок был уверен, что в крайнем случае… Записка попадет в руки Любови Дмитриевны. Разрыв с ней казался неизбежным. Он продолжал «фантазировать и философствовать», то есть относился к ней как к Прекрасной Даме, а она хотела, чтобы он видел в ней живого, во плоти, человека. Прекратились встречи, прервалась переписка. Именно прервалась: оба продолжали писать друг другу, но писем не отправляли. Он упорно продолжает верить «в земное воплощение Пречистой Девы, или Вечной женственности» и жаждет сближения, однако формулирует в дневнике, страницы которого являются одновременно черновиками писем к ней, «сближение оказывается недостижимым прежде всего по той простой причине, что Вы слишком против него (я, конечно, не ропщу и не дерзну роптать), а далее – потому что невозможно изобрести форму, подходящую под этот весьма, доложу Вам, сложный случай обстоятельств. Таким образом, все более теряя надежды, я и прихожу *пока* к решению…»

Следующая строка в дневнике – сплошные точки. Это – вместо объяснения, к какому именно решению приходит он, но и без объяснений понятно, что речь идет о самоустранении, и не только из ее жизни, но из жизни вообще, однако в этом контексте не совсем ясно, что означает подчеркнутое им слово «пока». Сомнение? Убить себя или не убить? Почти гамлетовский вопрос, решение которого Блок на время откладывает. Почему? Он уезжает в Шахматово. Ему нужно о многом подумать. Когда же он возвращается в Петербург, то в поезде встречает Михаила Сергеевича Соловьева (младшего брата философа Владимира Соловьева), который рассказывает ему, что стихи Блока произвели неизгладимое впечатление на молодого московского поэта и друга Сережи – Бориса Бугаева. Вот так… В поезде как будто между прочим открывается новая страница жизни Блока. Страница, которая до сих пор вызывает больше вопросов, чем ответов, и в которой по большому счету никто не мог и не может разобраться.

Глава 5
Борис Бугаев

Трудно представить себе двух человек, которые были бы столь непохожи. Да что там непохожи, скорее полная противоположность друг другу. Это почти сразу бросалось в глаза каждому, кто их впервые видел. Серьезный, можно даже сказать – неподвижный Блок и весь извивающийся, пританцовывающий на одном месте – Бугаев. Когда же они начинали говорить, их несхожесть становилась еще более яркой. С губ Блока иногда, точно с трудом преодолевая невидимый барьер, срывались скупые, глухие слова, и… водопад слов, речей – Бориса. Он говорил слишком много, слишком оригинально, глубоко, подчас даже блестяще.

Но это только внешнее различие. Если же посмотреть глубже, в их человеческую непохожесть, то мы увидим примерно следующее. Блок – и это в нем чувствовали и друзья, и враги – был необыкновенно, можно даже сказать патологически правдив. Возможно, фактически он и лгал кому-то, но… Вся его внутренняя материя была ужасающе правдивой, и как сказала Зинаида Гиппиус: «от него несло правдой». И далее она предполагает, что его косноязычие, тяжелословие, происходило отчасти из-за этой природной правдивости. «Блока, я думаю, – пишет З. Гиппиус, – никогда не покидало сознание или ощущение – очень призрачное для собеседника, – что они ничего не понимают. Смотрит, видит, – и во всем для него, и в нем для всего – недосказанность, неконченность».

Борис же в противоположность Блоку был исключительно неправдив. Но не банально, а по сути. Более того, его неправдивость не мешала ему быть очень искренним человеком. Парадокс этот объяснялся довольно просто. Борис Бугаев всегда верил в то, что он говорил именно в эту данную, конкретную минуту. И потому был искренним.

Блок был верен по своей сути. А уж если нет… То не скрывал этого. И уж если срывался, то летел вниз, в самые что ни есть тартарары с таким грохотом, что мало не казалось никому. Борис – весь легкий, точно пух собственных волос в юности, легко перескакивал многие вещи и танцуючи обходил тоже немало… Однако Борис был сам по себе воплощенной неверностью.

Что же их связывало? Почему возникла эта странная дружба-вражда, до сих пор вызывающая искренний неподдельный интерес не только у нас, знающих строчки Блока чуть ли не со

школьной скамьи, а во всем мире. Почему эти два человека по-прежнему будоражат воображение не только литературоведов, но и людей весьма далеких от кабинетных и библиотечных изысканий?

Блок и Андрей Белый (Борис Бугаев) – помимо того, что оба были писателями и поэтами – принадлежали к одному поколению, а если сказать еще точнее, как потом отмечали их общие знакомые – к «полупоколению». Они оба были неисцелимо невзрослые. В каждом из нас, сколько бы ни было лет, что-то остается от ребенка. И это, безусловно, хорошо, иначе страшно даже себе представить, какими бы скучными и плоскими мы были. Но Блок и Борис Бугаев были совершенно иными. Они оба не имели зрелости, и как вспоминали современники, чем больше времени проходило, тем яснее становилось, что они ее не достигнут. Это впечатление не могло разрушить ни серьезность Блока, ни огромная эрудиция Бугаева. Хотя их «детские стороны» тоже были весьма и весьма разными. Из Блока на мир смотрел серьезный, задумчивый ребенок. В чем-то упрямый, в чем-то строптивый, но всегда стремящийся понять этот мир, и… напуганный им. Точно ребенок, очутившийся один в незнакомом месте и твердо уверовавший, что вот сейчас он непременно потеряется.

В Борисе же сидел ребенок избалованный, выдумщик, даже можно сказать фантаст. Мальчик капризный, знающий, на какую родительскую струнку нужно надавить, чтобы получить желаемое.

К тому же оба они были людьми достаточно безвольными. И это впоследствии расцветет пышным цветом. Оба понимали и принимали такое понятие, как рок; более того, каждый из них прочувствует его на своей судьбе. Отличие состояло в том, что для Блока – это трагедия. Причем достаточно высокого стиля, равная по силе и динамизму греческим образцам. А жизнь Бугаева – это драма, с весьма сильной примесью мелодрамы.

Борис Бугаев родился в 1880 году в Москве в семье известного ученого, декана физико-математического факультета. Они были с Блоком ровесниками. Потом довольно часто он, горько усмехаясь, говорил, что у него было золотое детство. Он ходил в кружевном платьице, обвешанный золотыми локонами. Да… у маленького Бори были золотые волосы… И непонятно было, это мальчик или девочка? А может, ангелочек? «Я был с уродом папой против красавицы мамы и с красавицей мамой против урода папы. Каждый тянул меня в свою сторону. Они разорвали меня пополам. Да-да. Разорвали мое детское сознание, мое детское сердце. Я с детства раздвоенный. Чувство греха. Оно

мучило меня уже в четыре года. Грех – любить маму. Грех любить папу. Что же мне, грешнику, делать, как не скрывать грех? Я был замкнут в круг семейной драмы. Я любил и ненавидел…

Мама была настоящей красавицей. И не прав Достоевский – красота не спасет мир. Какой там – спасет. Мама была очень несчастна. Знаете, красивые женщины всегда несчастны и приносят несчастья другим. Особенно своим единственным сыновьям. А она была красавицей.

У меня в детстве была гувернантка Бэла Радек, некрасивая старая дева. Так вот она часто говорила: „Зачем ты, Боря, ломаешься под дурачка. Ты ведь совсем другой“. Одна она меня понимала. Если бы ее не выгнали, я бы, наверное, стал другим. Но мама приревновала меня к ней. И я остался один – в четыре года. И с тех пор уже не переставал ломаться. Даже наедине с самим собой. Ведь гримасы – та же маска. Я всегда в маске! Всегда!» – в минуту откровения признался Андрей Белый поэтессе Ирине Одоевцевой.

Наступил 1897 год. Год, когда Боря Бугаев узнал, что в Петербурге у его друга и соседа по дому Сережи Соловьева есть двоюродный брат, который пишет стихи. А еще… Это довольно странный, немногословный юноша обожает Шекспира и мечтает о сцене. Потом о Блоке часто рассказывала мама Сережи – Ольга Соловьева. Женщина, сыгравшая в судьбе Андрея Белого довольно значительную роль.

В 1922 году Андрей Белый опубликует свои воспоминания о Блоке и назовет 1899–1901 годы – годами «зорь». Узкая тропинка, ведущая на кладбище Владимира Соловьева, становится для Сергея и Бориса дорогой к «Чистилищу» и «Вдохновению», а Мировая душа ищет своего воплощения среди бесчисленного количества московских барышень. По очереди Борис и Сергей надевают крылатку любимого философа, чтобы познать тайну его души и бродят по заснеженным улицам, в надежде встретить его призрак. Однако Москва молчала, и тогда молодые люди приедут в Дедово, имение Сережиных родителей, где по-прежнему живет память о Владимире Соловьеве. Там они снова и снова пытаются найти ответы на множество вопросов, которые постоянно у них возникают.

Родители Сергея, Ольга Михайловна и Михаил Сергеевич, поощряли поиски молодых людей и тогда же для студента-математика Бориса Бугаева выбрали псевдоним – Андрей Белый, чтобы не бросать тень на знаменитую фамилию его ученого отца.

А что же Блок? Он живет в десяти километрах от Дедова и ни о чем не подозревает. Его целиком поглотили две вещи – стихи о Прекрасной Даме и любовь к Любе Менделеевой.

В Москве же вокруг Андрея Белого и Сережи Соловьева образовался кружок единомышленников, молодых людей, называющих себя красивым словом «аргонавты». Вот только среди них так и не нашлось крупного поэта, все были сплошь теоретиками да пылкими ораторами, бросавшимися в споры очертя голову.

Летом того же 1901 года Белый получает письмо от Сережи, который проводил каникулы в родительском имении. Оказывается, он снова возобновил отношения со своим кузеном. Выяснилось, что, как и они, Блок увлечен Соловьевым и «совершенно конкретно относится к теме Софии Премудрости», видит в Ней безликую любимую женщину; в нем, как и в них, есть «религиозно-мистическое электричество». Для Белого это письмо стало событием, и когда Сергей вернулся в Москву, то отдал Андрею с десяток блоковских стихов. «Этого не может быть!» – закричал Борис. Действительно, все, что «аргонавты» хотели высказать, но не могли сформулировать, все это отразилось в поэзии еще неизвестного двоюродного брата Сережи. И даже более того, он нашел «темного хаоса светлую дочь» и звал их вместе с собой преклонить перед ней колени.

Для Блока она абсолютно реальна, и он влюблен в нее. Цикл стихов о Прекрасной Даме, а их более восьмисот, еще нигде не опубликован. Он читается, как личный дневник. Вот она стоит на берегу озера, вот у окна, на углу улицы. Ее чистота, гордость, суровость… описаны предельно четко. «Но кто она?» – спрашивает Андрей Белый. И Сережа открывает тайну Блока. Это Любовь Дмитриевна Менделеева, дочь известного химика. Девушка, в которую влюблен Блок. И тотчас все «аргонавты» точно сошли с ума. Они стали радостно кричать, воздавая ей хвалу. И точно самая настоящая секта объявили Блока своим гуру, а Любовь Дмитриевну объектом поклонения. Так, не видя ни разу ни Блока, ни Любовь Дмитриевну, «аргонавты» начали поклоняться им.

Сам Блок, своеобразно ухаживая за своей возлюбленной, продолжает писать стихи. Наконец он решается объясниться с ней. Утром седьмого ноября он пишет прощальную записку. Потом берет загодя приготовленный револьвер и отправляется с ней на вечер в Дворянское собрание. После того как все закончилось, они вместе выходят на улицу. Идут по заснеженному Петербургу. Не сговариваясь, медленно, словно заново любуясь красотой улиц, шагают по Итальянской, затем сворачивают на Моховую и выходят на Литейный. Они идут по своим любимым улицам… Была морозная ночь, снег, несмотря на начало ноября, лежал глубокими сугробами и выглядел просто

как волшебство. Глубокий, чистый до нереальности. Когда же они вышли к Фонтанке, Блок неожиданно резко остановился. Он понял, что или сейчас признается в своих чувствах, или не сможет этого сделать уже никогда. И он заговорил, торопливо, сбивчиво, боясь самого себя и страшась ее ответа. Он ее любит, давно… Любит так, как никто до него никогда не любил женщину. Истинный смысл этой фразы Люба поймет позже. А пока с замиранием сердца она слушает Сашу Блока, не веря в то, что ее Прекрасный принц так долго томился и отчаивался от любви к ней. Тем временем Блок произносит: «Вся моя дальнейшая судьба зависит от вас». В этот момент что-то тяжелое с резким звуком падает наземь. Люба поднимает и видит, что это револьвер. «Вы…?» – только и может спросить у обомлевшего Блока. «Да, – отвечает он, – если бы вы мне отказали, я бы застрелился». Потом, смутившись, добавляет: «Даже записку оставил – в моей смерти прошу никого не винить». Люба будет хранить ее всю жизнь, а пока она долго смотрит на него, не в силах понять, кто перед ней. То ли романтик, то ли сумасшедший. Но до чего же он хорош! У Блока каменное лицо, и только нервно дергается уголок рта. Люба снимает перчатку и нежно проводит ладошкой по его лицу. «Я выйду за вас. Вот только… В браке есть такая пошлая сторона…» Глаза Блока сияют. Она поняла! О нет! Он ни в коей мере не осквернит ее! А Люба, картинно улыбаясь, берет его под руку. Затем кокетливо подставляет губки для поцелуя. Блок, понимая, что не должен отвечать на ее призыв, все же склоняется к красивым пухленьким губкам.

«Но больше ни-ни!» – снова кокетничает Люба. И Блок радостно улыбается. Все-таки она его понимает. Хотя… Как потом выяснится, ничего она не поняла. Да и не могла знать о той роли, что ей уготовил будущий муж и некие сектанты. Любовь Дмитриевна была самой обычной земной девушкой, которая мечтала о самой реальной земной любви. И меньше всего видела себя в роли Богини. И все же… Тогда, в ноябре 1902 года, они договорились о свадьбе. И назначили ее на август следующего года.

Придя домой, Блок запишет в дневнике: «Запрещенность всегда должна оставаться и в браке… Если Люба наконец поймет, в чем дело, ничего не будет… Все-таки, как ни силюсь, никак не представляется некоторое, хотя знаю, что ничего, кроме хорошего, не будет…» Позже горький и парадоксальный смысл этих записей станет ясен, и Люба действительно «поймет, в чем дело», – но будет уже слишком поздно.

Самое же поразительное, что мы по-настоящему не знаем истории взаимоотношений Блока и Любови Дмитриевны, хотя об

этом столько написано… Мне кажется, что интересно дать слово самой Любови Дмитриевне. Ведь нас по-прежнему интересуют вопросы… А любила ли Прекрасная Дама своего Рыцаря и Поэта? Любила ли Люба Менделеева юного Блока? Любил ли бобловский Гамлет, какого мы видим на старинной фотографии, свою Офелию, увитую подмосковным хмелем?.. Или это был поэтический миф, разрушившийся при первом столкновении с реальностью?..

Ведь не нужно забывать, что в своих воспоминаниях Любовь Дмитриевна напишет, что Блок ей с первого взгляда не понравился. И должны были пройти «годы служения», чтобы смешались явь и сон, Таинственная Дева и Люба Менделеева, Гамлет и Саша Блок, а седьмого ноября 1902 года произошло «решительное объяснение», вскоре сделавшее героев мифа земными персонажами – невестой и женихом.

После объяснения Блок напишет ей: «Ты – мое Солнце, мое Небо, мое Блаженство. Я не могу без Тебя жить ни здесь, ни там. Ты Первая моя Тайна и Последняя моя Надежда. Моя жизнь вся без изъятий принадлежит Тебе с начала и до конца. Играй ей, если это может быть Тебе забавой. Если мне когда-нибудь удастся что-нибудь совершить и на чем-нибудь запечатлеться, оставить мимолетный след кометы, все будет Твое, от Тебя и к Тебе. Твое Имя здешнее – великолепное, широкое, непостижимое. Но Тебе нет имени. Ты – Звенящая, Великая, Полная, Осанна моего сердца бедного, жалкого, ничтожного. Мне дано видеть Тебя Неизреченную».

Но в то же время Блок понимает, что Любови Дмитриевне нужны не заклинания, а живые человеческие чувства. И он уверяет любимую: «Не принимай это как отвлечение, как теорию, потому что моей любви нет границ, преград, пределов ни здесь ни там. И ты везде бесконечно Совершенная, Первая и Последняя».

Любу пугает отвлеченность, «мистицизм»; она жаждет земной любви. Блок объясняет: «Да, наконец, самый этот „мистицизм“ (под которым Ты понимаешь что-то неземное, засферное, „теоретическое“) есть самое лучшее, что во мне когда-нибудь было; он дал мне пережить и почувствовать (не передумать, а перечувствовать) все события, какие были в жизни, особенно: 1) ярко, 2) красиво, 3) глубоко, 4) таинственно, 5) религиозно. И главное, он дал мне полюбить Тебя любовью, не требующей оправданий, почувствовать перед Тобой правоту сердца…» И далее: «Вот что такое „мистицизм“. Он проникает меня всего, я в нем, и он во мне. Это – моя природа. От него я пишу стихи».

Такие письма и стихи не могли не вовлечь Любовь

Дмитриевну, человека артистичного и очень своеобразного, в необычный эпистолярный диалог, в котором говорили не просто влюбленные, а *посвященные*.

В конечном итоге этот диалог посвященных захватил всю жизнь и не дал распасться *союзу посвященных*. Из тех, кто покушался на этот союз, *посвященным* был, наверно, один Андрей Белый. Но и ему оказалось не под силу разорвать таинственные узы, связавшие Прекрасную Даму и ее Рыцаря. А на вопрос, почему жизнь сложилась вопреки мифу, наперекор мечте и простому человеческому счастью, Блок ответит сам:

Ты всегда мечтала, что, сгорая,
Догорим мы вместе – ты и я,
Что дано, в объятьях умирая,
Увидать блаженные края…
Что же делать, если обманула
Та мечта, как всякая мечта,
И что жизнь безжалостно стегнула
Грубою веревкою кнута?
Не до нас ей, жизни торопливой,
И мечта права, что нам лгала. —
Все-таки когда-нибудь счастливой
Разве ты со мною не была?
Эта прядь – такая золотая
Разве не от старого огня? —
Страстная, безбожная, пустая,
Незабвенная – прости меня!

Но до этих поздних признаний еще далеко. Да и сама Любовь Дмитриевна еще оставит безжалостные и нежные воспоминания о Блоке. Но это впереди. А пока мы – на заре двадцатого века. И Люба Менделеева пишет своему жениху:

«Мой дорогой, отчего ты не написал мне сегодня? Ведь это же ужасно – не видеть тебя, знать, что ты болен, не получать от тебя ничего! Нет, милый, пиши мне каждый день, а то я измучаюсь, я места не могу найти сегодня от тоски, так трудно отгонять всякие ужасы, которые приходят в голову… Но ведь ничего ужасного нет? Тебе не хуже? Что с тобой? Долго мы еще не увидимся? Боже мой, как это тяжело, грустно! Я не в состоянии что-нибудь делать, все думаю, думаю без конца, о тебе, все перечитываю твое письмо, твои стихи, я вся окружена ими, они мне поют про твою любовь, про тебя – и мне так хорошо, я так счастлива, так верю в тебя… только бы не эта неизвестность. Ради Бога, пиши мне про себя, про свою любовь, не давай мне и возможности сомнения,

опасения!

Выздоравливай скорей, мой дорогой! Когда-то мы увидимся?

Люблю тебя!»

Она пишет ему, не зная, что Блок болен дурной болезнью. А точнее сифилисом, которым его наградила одна из проституток. Узнав о своей болезни, Саша вновь вспомнил слова матери, которые она цинично обронила после его связи с Садовской. И ведь что удивительно, – оказалась права. Эти отношения действительно грязны и пошлы. С порядочными девушками, а тем более с той, на которой хочешь жениться, ни в коем случае нельзя опускаться до этого. Нельзя ее осквернять. А приступ болезни все усиливается… Люба потом напишет в своих воспоминаниях: «Каким-то подсознанием я понимала, что это то, о чем не говорят девушкам, но как-то в своей душе устраивалась, что не только не стремилась это подсознание осознать, а просто и вопросительного знака не ставила. Болен, значит – „ах, бедный, болен“, и точка. Зачем я это рассказываю? Я вижу тут объяснение многого. Физическая близость с женщиной для Блока с гимназических лет – это платная любовь и неизбежные результаты – болезнь. Слава Богу, что еще все эти случаи в молодости – болезнь не роковая».

А Блок ей отвечает: «У меня нет холодных слов в сердце. Если они на бумаге, это ужаснее всего. У меня громадное, раздуваемое пламя в душе, я дышу и живу Тобой, Солнце моего Мира. Мне невозможно сказать всего, но Ты поймешь. Ты поняла и понимаешь, чем я живу, для чего я живу, откуда моя жизнь. Если бы теперь этого не было, – меня бы не было. Если этого не будет – меня не будет. Глаза мои ослеплены Тобой, сердце так наполнено и так смеется, что страшно, и больно, и таинственно, и недалеко до слез. <…> Будет говорить страсть, не будет преград. Вели – и я выдумаю скалу, чтобы броситься с нее в пропасть. Вели – и я убью первого и второго и тысячного человека из толпы *и не из толпы.* Вся жизнь в одних твоих глазах, в одном движении».

В этом же письме Блок сообщает о ближайшей встрече с Л. Д. Менделеевой: «Еще несколько дней я не могу, говорят, Тебя видеть, т. е. выходить. Это ужасно. Ты знаешь, что это так надо, но мне странно. И еще страннее, что я подчиняюсь этому нелепому благоразумию. К великому счастью, я только подчиняюсь ему, но оно вне. Во мне его *нет.* Пока я знаю, что дело идет о нескольких днях (сколько – несколько?) и что от этого зависит будущее, я терплю еще. Но если бы это были недели или месяцы и болезнь была бы непрерывна и мучительна, я бежал бы ночью, как вор, по первому Твоему слову, по первому намеку».

А что Люба? Она полна сомнений. Будет ли все так прекрасно, как он говорит? Или их поглотит пучина обыденности, и они не смогут с ней справиться. И вот она ему снова пишет:

<6 декабря 1902. Петербург>

«Мой дорогой, любимый, единственный, я не могу оставаться одна со всеми этими сомнениями, помоги мне, объясни мне все, скажи, что делать!.. Если бы я могла холодно, спокойно рассуждать, поступать теоретично, я бы знала, что делать, на что решиться: я вижу, что мы с каждым днем все больше и больше губим нашу прежнюю, чистую, бесконечно прекрасную любовь. Я вижу это и знаю, что надо остановиться, чтобы сохранить ее навек, потому что лучше этой любви ничего нет на свете; победил бы свет, Христос, Соловьев… Но нет у меня силы, нет воли, все эти рассуждения тают перед моей любовью, я знаю только, что люблю тебя, что ты для меня весь мир, что вся душа моя – одна любовь к тебе. Я могу только любить, я ничего не понимаю, я ничего не хочу, я люблю тебя… Понимать, рассуждать, хотеть – *должен* ты. Пойми же все силой твоего ума, взгляни в будущее всей силой твоего провидения (ты ведь знал, что придут и эти сомнения), реши беспристрастно, объективно, что должно победить: свет или тьма, христианство или язычество, трагедия или комедия. Ты сам указал мне, что мы стоим на этой границе между безднами, но я не знаю, какая бездна тянет тебя. Прежде я не сомневалась бы в этом, а теперь… нет, и теперь, несмотря ни на что, я верю в тебя, и потому прошу твоей поддержки, отдаю любовь мою в твои руки без всякого страха и сомнения».

Блок пытается развеять ее сомнения: «Ты *теперь должна* быть свободна от сомнений и *МОЖЕШЬ* твердо *ВЕРИТЬ* мне в том, о чем Ты думаешь. Все это я не могу довольно ясно выразить в эту минуту. Но *знай,* что *теперь* полновластны „свет, христианство и трагедия“, по причинам, часто темным для Тебя, а частью для меня».

Они начинают встречаться в меблированных комнатах на Серпуховской улице, № 10. Иногда у него бывают вспышки чувственности, но они только пугают Любу. Тем более что неведение в сексуальных вопросах было воистину безгранично. Создавалось впечатление, что в свои двадцать два года она понятия не имела, откуда берутся дети. А еще… считала физическую близость ужасной и пошлой. Потому и боялась брака и замуж не хотела и с восторгом принимала заверения Блока, что у них все будет по-другому. Он же заверял ее, что детей у них никогда не будет, поскольку он ее не осквернит. Ведь смотреть на любимую и то дерзость. И точно в подтверждение своих слов, отправлялся к уличным девушкам, с удовольствием продающих

любовь такому красивому господину. И снова заражается от очередной красотки. После он напишет Любе: «Тебе лучше не приходить в эту комнату на Серпуховской, пока я болен, потому что все эти люди какие-то грубые и подозрительные. Вчера я не мог дождаться ни дворника, ни Остапа, говорил с женой управляющего и со швейцаром. <…> У меня, в конце концов, просто чувство отвращения ко всем им и к тому внутренне нечистому, что они говорят, а главное – думают».

Но вот заканчивается 1902 год, и Блок понимает, что ему просто необходимо переговорить с матерью. Дальше тянуть некуда. Да и Люба нервничает. Она знает, какую роль в жизни Саши играет его мать, и от ее реакции на их отношения во многом зависят и сами отношения. Поэтому она торопит его, не скрывая своей нервозности. А он старается ее успокоить.

В письме от 28 декабря Блок сообщил Л. Менделеевой подробности важного разговора со своей матерью – А. А. Кублицкой-Пиоттух: «Теперь она знает *почти все* <…>. Но, останавливаясь на этом пункте, я прежде всего ужасно жалею, что Ты не знаешь мою маму. Во всяком случае, если можешь, поверь мне пока на слово, что большего *сочувствия всему* до подробностей и более положительного отношения встретить нам никогда не придется. Кроме того, все, что возможно, она понимает, зная и любя *меня* больше всех на свете (без исключений) <…>. При этом имей в виду, что мама относится к *Тебе* более, чем хорошо, что ее образ мыслей направлен вполне в *мистическую* сторону, что она *совершенно* верит в предопределение по отношению ко мне».

Люба сразу же ему отвечает: «Мой дорогой, я рада, что мама знает все, я давно этого хотела в глубине души, потому что хотела, чтобы она знала, что тебе хорошо теперь, что ты счастлив и что, если я и сделала тебе что-нибудь злое в прошлом году, то теперь и ты, и мама можете мне все простить за мою любовь. Кроме того, я твою маму люблю теперь больше всех на свете, после тебя, и мне хотелось всегда, чтобы и она хоть немного знала меня и любила.

Напиши, ради Бога подробнее, это все так странно, и я еще не совсем понимаю. Прости, что письмо придет так поздно, я твое вчера не получила, опоздала на почту. Мама ничего не знает и теперь ей и подозревать нечего. Помни, что кроме моей любви и тебя, у меня ничего нет на свете, я верю только тебе, делай что хочешь, говори все, кому хочешь, а маму твою я люблю и верю ей.

Твоя

Напиши сегодня домой в мамином конверте».

Наступил 1903 год. И сразу же ознаменовался трагедией. Отец Сергея Соловьева, Михаил Сергеевич, тонкий, чуткий человек, который всегда поощрял «аргонавтов», был слаб здоровьем. Поначалу инфлюэнцию, которой он заболел, всерьез не приняли. Но… Болезнь протекала тяжело, и врачи не смогли его спасти. Весной этого же года Михаил Сергеевич умирает. Спустя полчаса его жена – Ольга, которой стольким были обязаны и Блок, и Андрей Белый, закрыв мужу глаза, уходит в другую комнату и достает револьвер. Раздается выстрел, обрывающий ее жизнь. Шестнадцатилетний Сережа остается один, без родителей, которых хоронят рядом.

В этот же самый день – удивительное совпадение, Блок впервые напишет Андрею Белому, и тот, словно по наитию, тоже отправляет ему письмо. Так познакомились два крупнейших поэта того времени. После первого обмена письмами переписка с Андреем Белым уже не прекращалась. В ней отражались все перемены в душевном состоянии Блока. Он больше рассуждает о Деве Радужных Ворот, чем о Любе Менделеевой. А Борис все гадает, кто же такая Любовь Дмитриевна. «Коль Беатриче, – на Беатриче не женятся. Коли девушка просто, то „свадьба на девушке просто – измена пути“». Сережа Соловьев вступался за Блока: «Любовь Дмитриевна осознает свою двойственность! И раз Менделеев темный хаос, то она и в самом деле его „светлая дочь!“».

А вскоре и сам Андрей Белый стал уставать от «аргонавтов». Он повсюду бывал, много говорил и… вдруг понял, что ему не хватает времени на самое главное – писать стихи! Он стал сравнивать себя с героем комедии Грибоедова – Репетиловым, который на вопрос, что же он делает, отвечал: «Шумим братец, шумим!»

Совсем иная картина у Блока. В 1901 году он перешел с юридического факультета на филологический, по славяно-русскому отделению. Весной 1903 года готовится к государственным экзаменам, проходившим с 15 апреля по 20 мая. Ему предстоит сдавать: латинский язык, историю древней философии (24 апреля), русскую историю, новейшую историю, греческий язык и историю русской словесности (20 мая).

В это же время должен произойти решающий разговор Любови Дмитриевны с отцом, после которого можно назначить день свадьбы. И вот седьмого апреля 1903 года она ему пишет: «Милый, дорогой, не знаю, как и начать рассказывать. Папа согласен на свадьбу летом! Он откладывал только, чтобы убедиться, прочно ли „все это“, „не поссоримся ли мы“. И хоть он еще не успел в этом убедиться, но раз мы свадьбы хотим так

определенно, он позволяет! Началось это очень плохо: мы с мамой стали ссориться из-за этого же, конечно. Вдруг входит папа. Мама (очень зло, по правде сказать) предлагает мне сказать все сначала папе, а потом уже строить планы. Я и рассказала. А папа, совсем по-прежнему, спокойно и просто все выслушал, спросил, на что ты думаешь жить; я сказала, и папа нашел, что этого вполне довольно, потому что он может мне давать в год 600 рублей. Теперь он хочет только поговорить с твоей мамой о подробностях, узнать, что она думает. Я прямо и поверить не могу еще, до чего это неожиданно! Мы-то думали ведь, что папу будет труднее всех уговорить, а он смотрит так просто и видит меньше всех препятствий. У него вышло все так хорошо, что и мама сдалась, хотя и пробовала сначала возражать, приводить свои доводы. Жаль ужасно, что мы с ней опять поссорились. После разговора с папой я пошла просить у нее прощения за первую ссору, а вышло еще хуже. Но я непременно помирюсь с ней завтра. Теперь все зависит от нас, т. е. от тебя. Бедный, мне тебя жаль – столько придется обдумывать, устраивать, хлопотать, ужасно много надо будет энергии и воли. Я-то помочь ведь почти не могу, знаешь ведь, какая у меня энергия. Хорошо хоть, что не очень долго все будет продолжаться, потом „мы отдохнем!“ А все-таки, бедный ты! Не привык ты к таким скучным, практическим делам. А тут еще экзамены твои! Ты думай все время обо мне, а у меня нет минуты, которая не была бы твоя. – Мы сейчас, утром, помирились с мамой».

Блок, прочитав это письмо, тотчас отвечает: «Моя Милая, моя Дорогая, сейчас я получил письмо. Счастлив без конца. Весь день были ужасные разговоры. Все измучились. Я уж написал Тебе растерянное письмо. В эту минуту получил Твое. Думаю, что будем венчаться осенью, потому что за границу ехать надо. Что Ты думаешь об этом? Потом останемся в Шахматове. Обо всем нужно говорить. Завтра приедет мама. Нужно скорее написать отцу. Твой папа, как всегда, решил совершенно необыкновенно, по-своему, своеобычно и гениально. О пятнице думаю, как об обетованном дне. Моим думам о Тебе нет и не будет конца. *Твой».*

Кажется, что счастье влюбленных безмерно и ничто не способно его омрачить. Однако вскоре происходит событие, которое ставит под угрозу не только предстоящую свадьбу, но и сами отношения Блока и Любы. А начиналось все вроде очень даже прозаично. У Александры Андреевны снова стало пошаливать сердце и расшатались нервы. Доктора прописали ей воды. И Блок, как примерный сын, должен сопровождать матушку на немецкий курорт. Все было бы ничего, если бы курорт не был тем же, где Блок познакомился с Ксенией Садовской. Да еще он

взял и рассказал Любе о своем страстном романе и о том, что Ксения большую часть времени в году предпочитает жить на водах. Люба недоумевала, что это? Насмешка судьбы? Или совсем иное? Может, ее жених хочет перед свадьбой приятно провести время с бывшей любовницей? Люба пытается быть сдержанной и даже не подавать вида, как ей тяжело. Но все же нет-нет и прорывается горький упрек. Она опять мучается сомнениями. А не поспешили ли они? Тот ли человек Саша, с которым она будет счастлива. Он, словно читая ее мысли, едва прибыв на место, сразу пишет: «Я оторвался от Тебя как-то вдруг. Точно без приготовления и прямо вслед за „третьим звонком“. До этих пор точно ничего не было, даже все приготовления к отъезду были чужды и мало заметны. Все, точно я еще держал Твои руки и целовал их, и вдруг Ты судорожно обняла и бросила, и ушла в толпу, и там только Твоя фигура видна с отходящего поезда. Это – последнее».

И все же Люба полна сомнений. Любит ли он ее? Если да, то почему поехал в этот далекий немецкий городок? И каким он вернется назад? Будет ли по-прежнему влюблен в нее или станет холоден? Она вся в волнении, в ожидании приезда Блока. Но вот… Скоро, уже совсем скоро все разрешится.

А что же Блок? Сейчас его привлекает только одна женщина – Люба Менделеева.

Наконец Блок возвращается и происходит решительное объяснение. Он сумел убедить Любу в неизменности своих чувств и… Две семьи, дружившие столько лет, начинают готовиться к свадьбе. Возникает множество хлопотных и неотложных дел. Отец Блока присылает сыну тысячу рублей, конечно, это деньги, но не такие уж большие. Ведь нужно столько всего купить. Мебель, одежду, кольца. Во всем Саше помогает мать, но он и сам, несмотря на свой поэтический и романтический облик, проявляет завидный практицизм. И вот в ночь с шестнадцатого на семнадцатое в его записях появляются такие строчки: «Францицку – заплатить попам и певчим, получить бумаги. В субботу – Дмитрий за букетом. В субботу – диакон с обыском – в Боблово 3–4 ч., после к нам. Сказать, что не надо молебна и слов попа. В 9.30 ч. утра Сережа едет с букетом в Боблово. В 10 ч. утра Николай Дмитриевич едет за попом. В 11 ч. утра я еду в церковь. В 12., венчание. Получить бумаги, заплатить попам».

Наконец-то наступил долгожданный день свадьбы. Всю ночь накануне он не смыкал глаз. Везде и всюду ищущий знаки, Блок не мог не думать о дурном предзнаменовании. Когда они с Любой прогуливались по аллее в Шахматово, то увидели мертвого щегленка. Он лежал на самой обочине аллеи, спрятавшись в

траве. Такое крохотное и трогательно беззащитное тельце… И при каждом шаге яркое пятнышко перышек мертвой птички все больше и больше тревожило его своей обреченностью.

Блок перевернулся на другой бок. «Это все глупости. Они с Любой будут непременно счастливы. Он и его Беатриче!»

Утро встретило его дождем и сразу не задалось. Букет, заказанный накануне, так и не прибыл. Теперь его придется составлять на месте. Он срезал в цветнике все розовые астры, и с этой охапкой его и увидела Александра Андреевна. Она улыбалась, а потом произнесла: «Дождь – это к счастью. Все будет хорошо, Сашура». Господи, как же давно его не называли этим именем. И ему самому хотелось верить, что все знаки – это пустое придуманное людьми. Они с Любой будут выше этого. Впрочем, пора ехать. Прибыла нанятая тройка. Красивые, рослые кони светло-серой окраски, дуга была украшена яркими лентами. На козлах сидел молодой симпатичный ямщик, и у Блока отлегло от сердца. «Нет, он определенно напридумывал всяческие страсти-напасти, а на самом деле все будет прекрасно и замечательно». Под моросящим дождиком они все отправились в Боблово. Венчание состоялось в маленькой сельской церквушке. Люба в длинном батистовом платье с длинным шлейфом и фате с памеранцевыми цветами, была чудо как хороша. Но рядом с ней Блок почувствовал себя неуютно. Он едва смог выдавить из себя очередную деревянную улыбку. Да к тому же купленное специально по такому торжественному поводу штатское платье казалось ему уродливым и дешевым. В этот момент священник по старинному обряду надел ему с Любой серебряные венцы прямо на голову. «Свершилось, – подумал Блок». Сережа Соловьев, который был шафером, счастливо улыбался, родители плакали… И все желали им счастья.

Глава 6
Земное

Люба сидела перед зеркалом и расчесывала свои прекрасные волосы. Молодая женщина придирчиво изучала свое отражение. Да, конечно, красавицей ее трудно назвать. И все же… Она была чудо как хороша. Тогда почему же Саша?.. Они уже женаты больше года, а так и не стали мужем и женой по-настоящему. Сразу же после свадьбы Саша стал рассуждать о том, что физическая близость только разобьет их отношения. Нет, он не может прикоснуться к ней, осквернить ее… Он говорил очень долго, а Люба смотрела на него и только диву давалась. «Что же это такое… – пронеслось в голове у девушки. – Он ведь любит меня, я это точно знаю… Тогда отчего?»

А Саша продолжал дальше развивать свою мысль. Оказывается, что физическая любовь между мужем и женой – это пережитки прошлого. Напрасно Люба убеждала мужа, что она хочет близости с ним, что любит, что хочет принадлежать ему вся без остатка, что именно он должен ввести ее в этот новый, неведомый прежде мир. Саша был непреклонен. Он не должен, не смеет… И так далее в этом же духе. Потом долго молчал и, не глядя на Любу, произнес: «Пойми, эти отношения не могут быть длительными. Я неизбежно уйду к другим». «А я?» – спросила Люба. «И ты… Ты тоже пойдешь по другим». Ей показалось, что он оскорбил ее. Будто залепил звонкую пощечину. Она не знала, что пройдет совсем немного времени, и он окажется прав, а слова эти станут пророческими.

Но тогда, после его слов, она проплакала всю ночь напролет. Дочь известного химика, Люба была воспитана в уважении ко всему земному, к опыту и фактам. Любая мистика ей претила.

Она поднялась с кресла и спустила с плеч тонкую ночную рубашку. Люба стала рассматривать свое тело в зеркале. Оно было очень и очень соблазнительно. Вот только толку в этом. Ведь Сашу она как женщина не привлекает, и как это ни горько, но это правда. Хорошо, что природа не одарила ее бурным темпераментом. Иначе ненормальные супружеские отношения вскоре довели бы ее до истерики. Хотя… Темперамент северянки тоже довольно-таки обманчивая вещь. Его можно сравнить с замороженным шампанским, мирно дремлющим до поры до времени. Зато когда пробьет его час… Искрящийся огонь вырвется наружу, и никакие преграды его не смогут сдержать.

Люба придирчиво осмотрела себя. Плавные линии девичьей

фигуры. Бархатная золотистая кожа, молодое тело – мягкое и упругое… Нет, выглядит она очень соблазнительно. Почему же у Саши исчезло влечение к ней? Да и было ли оно?

Раздался стук в дверь. Быстрым жестом она набросила шелковый халат и подошла к дверям. На пороге стоял Блок. Он был одет так, что тотчас становилось понятно, что и сегодня Саша уйдет в ночной загул. Да и снизу гремел голос его приятеля и собутыльника – Григория Чулкова. Тот о чем-то оживленно спорил с матерью Блока.

Тем временем Блок вошел в спальню к Любе. Наклонился и нежно поцеловал ее в щеку. «Не жди меня, – проговорил. – Ложись, отдохни как следует». «От чего?» – хотела спросить Люба. Но он уже вышел из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. А она, опустившись в кресло, горько заплакала. Неужели эти слезы и есть то, что уготовило ей супружество? Снизу раздался голос Александры Андреевны, она причитала, что же будет с Сашей?! Куда его приведут эти якобы дружки? Мать Блока была права. Она видела то, что пока ускользало от глаз Любы: ее обожаемый сын разделял все пороки своего времени.

В те далекие года уходящего девятнадцатого века считалось, что поэт должен испытать острые ощущения по максимуму. Причем непременно и обязательно. В моде было все необычное и экстравагантное. И горькое пьянство казалось чем-то само собой разумеющимся. Да и вообще, как можно творить на трезвую голову? Это ведь совсем не романтично. И потом разве только пьянством можно привлекать к себе внимание?

Гиппиус и Мережковский казались дружной парой, у которой были общие взгляды на жизнь, литературу и философию. И они действительно были таковыми. Сейчас о них много пишут не только в связи с Серебряным веком, литературными течениями и литературной критикой. О них все чаще упоминают как об одной из первых пар, где отсутствовала сексуальная жизнь. Зинаида Гиппиус предпочитала женщин. Но разве от этого вклад их в русскую литературу стал менее значительным? Просто конец девятнадцатого и начало двадцатого века ознаменовалось тем, что все тайное, блуждавшее в сознании многих, вдруг стало обостряться и выплывать наружу. Да и к тому же неожиданно поэтом стало быть модно. Очень точно об этом сказал Георгий Иванов: «Сталкиваясь с разными кругами богемы, делаешь странное открытие: талантливых и тонких ее людей – встречаешь больше всего среди подонков. В чем тут дело? Может быть в том, что самой природе искусства противна умеренность. „Либо пан, либо пропал“. Пропадают неизмеримо чаще. Но и между подонками есть кровная связь. „Пропал“. Не смог стать паном и,

может быть, почище других. Не повезло. Голова слабая и воли нет. И произошло обратное пану – „пропал“. Но шанс был. А „средний“, „чистенький“, „уважаемый“ никак никогда не имел шанса – природа его другая.

В этом сознании связи с миром высшим, через голову мира почтенного, – гордость подонков. Жалкая, конечно, гордость».

И множество разбитых судеб, тех, кто начинал блестяще, но увы… Пропадал в сумрачном мире питерских кабаков и пивных. На пересечении проспектов Большого, Малого и Среднего Васильевского острова – пивные. С перекрестков бьют снопы электрического света, слышится пьяный говор и звучит «Китаянка» из хриплого рупора. Некоторые из этих пивных построили немцы в конце восьмидесятых девятнадцатого века. О, разумеется, они не думали, что завсегдатаями станет «богемная» публика столицы. Нет… Они рассчитывали, что сюда будут приходить солидные соотечественники. Поэтому и оборудовали свои заведения под национальный вкус. Широкие мраморные стойки, солидные столики, увесистые фарфоровые пивные кружки и прочие милые их сердцу вещицы. На стенах кафелями выложены сцены из Фауста, а в стеклянной горке посуда для торжественных случаев. Вот только все чаще и чаще эта самая горка, крепко-накрепко закрыта на замок. Поскольку во всех этих заведениях больше не слышна немецкая речь. Здесь собираются «сливки» петербургской богемы, и если мы прикроем глаза, то увидим некоторые зарисовки.

В одной пивной, которая по определению пуста не бывает, официально торгуют до двенадцати, хотя посетители засиживаются там до часу ночи. Но вот стрелка часов неумолимо приближается к закрытию, и вся творческая публика плавно перемещается на Невский, где можно посидеть до трех и перейти на Сенную в только открывшиеся извозчичьи чайные – яичница с обрезками колбасы и спирт в битых коричневых чайниках на грязных скатертях. Такое времяпрепровождение называется пить с пересадками. И вот в одном из подобных кабачков можно увидеть компанию, с которой сидел до утра и Блок. Три столика сдвинуты – это угол литературно-поэтически-музыкальный. Там идут бесконечные разговоры. Слышится фраза: «Романтизм… Романтизм… Голубой цветочек…» А потом: «Выпьем за искусство… Построим лучезарный дворец… Эх, молодость, где ты…» Блок пьет много. Но по нему не видно. Он молчит, и только взгляд становится все более тяжелым, а улыбка деревянной.

Блок любил не просто пивные или кабачки. Он со своими неизменными приятелями-собутыльниками выбирал самые грязные и отвратительные из них. Кстати, его друзья достойны

того, чтобы немного рассказать о них. Самым ярким из них был второстепенный писатель – Чулков. Как потом его охарактеризует Любовь Дмитриевна, – он был милым. И поверхностно-изобретательным. Так, он выдумал «мистический анархизм», в который толком-то и сам не верил.

Долгие годы Блока связывала дружба с очень неприспособленным к обыденной жизни человеком – Евгением Ивановым. Блок достаточно часто решал его проблемы и заботился о нем, как о малом ребенке. Для примера, характеризующего этого человека, можно сказать, что готовил господин Иванов себе сам, причем исключительно на спиртовке, считая ее наиболее безопасной. А то вдруг кухарка на него за что-нибудь обозлится и подсыпет в обед мышьяк. Так что лучше уж так, от греха подальше. Он был рыж весь. Рыжие волосы, борода, брови и, казалось, даже глаза. Мог молчать часами, а потом неожиданно, совершенно вне всякой связи, сказать: «Бог. Или Смерть. Или Судьба». И снова замолчать. Присутствующие только пожимали плечами. Почему Бог? Какая судьба? Но Евгений уже замолкал на следующие несколько часов.

Пяст представлял по свидетельству современников довольно-таки странное зрелище. В вечно клетчатых штанах, носивший канотье чуть ли не в декабре, он был постоянно одержим какой-нибудь идеей. То устройством колонии лингвистов на острове Эзеле, то подсчетом ударений в цоканье соловья – и реформы стихосложения, на основании этого подсчета. Отстаивал он свои идеи с маниакальным упорством, но только до того часа, как был сам ими увлечен. Нужно отметить, что остывал он довольно-таки быстро и поэтому не успевал очень уж утомить окружающих.

Вот они-то и сопровождали Блока в его кабацких разгулах. Казалось, что поэт получал особое, изощренное удовольствие от самых грязных заведений. Чистоплотный до невозможности, барственный, холеный и невероятно красивый Блок иных заведений не принимал ни душой, ни сердцем.

Вначале, как правило, друзья направлялись в «Слон на Разъезжей», затем в «Яр» на Большом проспекте, а потом… к цыганам. Если мысленно заглянуть на огонек в эти заведения, то можно увидеть… Чад, несвежие скатерти, бутылки, закуски. «Машина» хрипло выводит: «Пожалей ты меня дорогая» или на «На сопках Маньчжурии». Кругом пьяницы, хотя… немногим от них отличаются и спутники Блока. Вот только Блок… Он такой же, как обычно. Точнее, как на утренней прогулке или в своем кабинете. Спокойный, красивый, задумчивый. Он тоже много выпил, но по нему это незаметно. Вот из-за одного столика поднимается проститутка. Нет, не таинственная незнакомка, а

самая обычная кабацкая шалава. Она подходит к Блоку, улыбаясь, присаживается. «О чем задумались?..» – спрашивает «девушка». – «Не угостите ли меня?» Блок обнимает ее, и она присаживается к нему на колени. Он наливает ей вина, и нежно, точно ребенка, гладит по длинным, чуть спутанным волосам. А потом что-то тихо-тихо говорит. Что именно? Да, в сущности, неважно. А может, наоборот? О том, что страшно жить в этом мире, что нет любви, что жизнь бессмысленна. Нет, прерывает он себя, любовь есть, она везде. Даже на этих окурках, затоптанных на кабацком полу, на этих испитых лицах, везде… Она как луч скользит по каждому. Девица, запрокинув голову, слушает, и по ее щеке сползает слеза. Ей кажется, что и в ее пропащей жизни еще можно многое изменить, что еще не все потеряно, и что ее ждет настоящая любовь. В этот момент в себя приходит Чулков и истошно кричит: «Саша, ты великий поэт!» Блок смотрит на него трезво и ясно. И точно так же, как всегда, медленно и чуть деревянно отвечает: «Нет, я не великий поэт. Великие поэты сгорают в своих стихах и гибнут. А я пью вино и печатаю стихи в „Ниве“. По полтиннику за строчку».

А в это время в квартире Блоков разворачивается совсем другая мезансцена. Любе все труднее и труднее адаптироваться в том странном мире, куда она попала. Нелады со свекровью становятся все сильнее. Доходит до того, что Александра Андреевна обвиняет невестку в том, что она скрывает свою беременность. Люба не понимает, откуда взялись такие сведения, ведь они с Сашей еще ни разу!.. Оказывается, мать Блока взяла привычку рассматривать грязное белье молодой женщины. Спорить с ней бесполезно. У Александры Андреевны нервы расшатаны до предела, более того, она страдает эпилептическими припадками, осложненными сердечными приступами. Ее надо щадить, ведь Саша едва ли не боготворит мать. Но и выносить общество Александры Андреевны можно с большим трудом. Женщины не понимают друг друга, да вдобавок к их непростым отношениям примешивается весьма острый соус – ревность. Мать и жена как умеют борются за любовь и внимание одного мужчины – Блока. Этого одного было достаточно, чтобы превратить жизнь семьи в сущий ад.

Однако… Это еще не был ад. А только преддверие к нему. Но пока ни Люба, ни сам Блок даже не подозревают, что их ждет впереди. И какая драма, если не сказать трагедия, в скором времени разыграется в их семействе. Но сейчас они по-своему счастливы и строят планы на будущее, как и подобает всем молодым людям. Тем более что впереди их ждет поездка в Москву. В поезде каждый из них думал о своем… Но… Среди

несхожестей их мысли был человек, о котором думал и Блок, и Любовь Дмитриевна. Это Борис Бугаев. Ведь именно с ним суждено им было увидеться, и должна была открыться новая страница в отношениях этой весьма странной пары.

Десятого января 1904 года в квартире Белого начался переполох. Ждали самого Блока с женой. С утра Борис не находил себе места. Он то смотрел в окно, то подбегал к дверям в прихожей и прислушивался к каждому звуку, к каждому шороху, в ожидании гостей. Наконец раздался долгожданный звонок. Борис сорвался с места – «Блоки!»

Он выбежал в прихожую, открыл дверь и… Перед ним стоит нарядная дама. Белый поклонился и учтиво пригласил ее пройти. Дама точно выплыла из шубки беличьего меха. Высокий студент, сняв пальто, повесил его сам на вешалку и, стиснув в руках рукавицы молочного цвета, не знает, куда положить свою фуражку. Борис смущен и еще пристальнее разглядывает пару. Но, впрочем, пусть сам Андрей Белый расскажет о своих первых впечатлениях. «Широкоплечий, прекрасно сидящий сюртук с тонкой талией, с воротником, подпирающим шею, высоким и синим; супруга поэта подчеркнуто чопорна; в воздухе запах духов; молодая, веселая, очень изящная пара! Но… но… Александр ли Блок – юноша этот, с лицом, на котором без вспышек румянца горит розоватый обветр? Не то Молодец сказок, не то – очень статный военный; со сдержанными ровных, немногих движений, с застенчиво-милым, чуть набок склоненным лицом, улыбнувшимся мне; он подходит, растериваясь голубыми глазами, присевшими в складки, от явных усилий меня разглядеть; и стоит, потоптываясь:

– Борис Николаевич?

– Да. Александр Александрович?

Поцеловались. Но образ, который во мне возникал от стихов, – был иной: роста малого, с бледно-болезненным, очень тяжелым лицом, с небольшими ногами, в одежде не сшитой отлично, вперенный всегда в горизонт беспокоящим фосфором глаз; и – с зачесанными волосами; таким вставал Блок из раздумий:

Ах, сам я бледен, как снега;
В упорной думе сердце беден!

Курчавая шапка густых рыжеватых волос, умный лоб, перерезанный складкою, рот, улыбнувшийся, глаза приближенно смотрят, явивши растерянность: большую, чем подобало. Разочарование!»

Тем не менее, а может быть, именно для того, чтобы скрыть смущение, Белый в растерянности хватает муфту Любови Дмитриевны, она мило ему улыбнулась, а он с извинениями, спохватившись, возвращает вещь, невольно отметив, до чего же хороша жена Блока. Сам Блок смущен не меньше Бориса Бугаева, просто он лучше владеет собой.

Мать Бориса ждет их в гостиной, куда после всех конфузов проводит их Белый. Любовь Дмитриевна садится рядом с ней и заводит непринужденную светскую беседу. А Борис и Блок расположились в креслах, мучительно молчат. Достаточно долго. Но вдруг… Борис совершенно неожиданно подскочил и сорвался с места. Он нервно ходил по комнате, пританцовывая при каждом шаге. Блоки изумленно на него смотрят. А он точно никого не видя, понес пустейший вздор. Изумление собравшихся оборвал сухой, словно деревянный смех. Это засмеялся Блок. Борис обернулся, и они друг другу застенчиво улыбнулись. Точно по-новому увидев открывшуюся картину. И тогда Андрей Белый понял, что он заново влюбился в Сашу Блока. А еще понял, что и дружба будет крепнуть день ото дня и… что в конце концов он дорого заплатит за эту дружбу.

Действительно, лед между ними стал таять. И все же… Несмотря на все различия, у них ведь было много общего. Блок был меланхолик, Белый – сангвиник, но… Обоим пришлось таиться от окружающих. Блок был чужд студенчеству, среди которого вынужден был вращаться большую часть времени, и столь же чужд отчиму, родственникам, и в особенности семейству Менделеевых. К тому же он испытывал частый испуг перед бестактностью, а к суесловию просто питал отвращение, которое он закрывал «стилем очень хорошего тона». В общем, психологически Блок облекся в плотно прилегающий сюртук и старался не раскрываться ни перед кем. Таким же чужим в своей семье чувствовал себя и Белый. И они сошлись. Сошлись контрастами.

Более того, стали видеться каждый день. Иногда к этой счастливой троице присоединялся Сережа Соловьев, и все вместе они бродили по Москве. К тому же… Блок, Белый и Соловьев основали Братство Прекрасной Дамы. Любовь Дмитриевна была для них Женой, Облаченной в Солнце, Софией Премудростью. Они были полностью поглощены идеями Владимира Соловьева и поклонялись Любови Дмитриевне. Да только нужно ли ей было это поклонение? Поначалу, наверное, да. Ново, необычно и безумно приятно. И уже тогда в первые годы своего замужества Любовь Дмитриевна поняла, что хочет на сцену, хочет стать актрисой с большой буквы. Блок не говорил ни да, ни нет. А

Белый… Он был поглощен своими светлыми чувствами, которые вызывала у него Прекрасная Дама. Вот как он об этом вспоминает: «Мы даже в лицо ей смотреть не смели, боялись осквернить ее взглядом. Все трое – Саша, как и мы с Сережей. Он признавался в стихах, ведь его тогдашние стихи – дневник:

Сердцу влюбленному негде укрыться от боли…
Я не скрываю, что плачу, когда поклоняюсь…

Она, розовая, светловолосая, сидела на диване, свернувшись клубком, и куталась в платок. А мы, наверное, рыцари на ковре, экзальтированно поклонялись ей. Ночи напролет… Зори, зори, зори. Зори дружбы. Зори любви».

Люба Менделеева, а с недавнего времени – Менделеева-Блок, в тот зимний вечер 1904 года впервые переступила порог «литературного святилища» – издательства «Гриф», где собирался весь цвет московский. На взгляд двадцатитрехлетней Любы, «цвет» этот выглядел довольно странно, был там какой-то изможденный человек с черными кругами вокруг глаз: по всему видно, что кокаинист, какие-то студенты, барышня в цыганском монисто с демоническим смехом и вдруг какой-то присяжный поверенный – на вид очень приличный… Молодой человек, только что отрекомендовавшийся Блокам как «теософ Эртель», блеснувши осатанелыми глазами, воскликнул: «Москва, вся объятая теургией, преображается!» Вдруг забасил присяжный: «Господа! Стол трясется!»

«Саша! – шепнула Люба на ухо мужу. – Кажется, он представляет себе преображение мира как спиритическое столоверчение. Как это все забавно!» Блок, казалось, не слышал. Он, только-только принятый в этом изысканном обществе как начинающий, но уже модный поэт, следил за происходящим с самым искренним интересом.

Он пытался объяснить Любе, что можно воспринимать жизнь мистически, видеть в самых обыденных вещах отображение Извечной Природы, ждать каких-то неясных, но непременно грядущих мировых катастроф и радоваться их приближению. Ему вторили «блоковцы». Кто такие? В сущности, это были все те же лица – Сережа Соловьев, Белый и их близкий круг. Они любили превращать жизнь в изящную игру и в этом сезоне охотно объявили себя «блоковцами», согласившись с Александром Александровичем, что его супруга есть «земное отображение Извечной Женственности», делая мистические выводы по поводу ее жестов или прически. Стоило ей надеть яркую ленту или даже просто взмахнуть рукой, как «блоковцы» переглядывались со

значительным видом.

Любови Дмитриевне Менделеевой, дочери профессора Менделеева, автора знаменитой таблицы, эти люди, которых на французский манер называли декадентами, казались странными и непонятными. Они мечтали придумать жизнь заново, создать мир, совсем не похожий на тот, который существовал раньше. Каким именно должен быть этот обновленный мир – никто толком не представлял, но только другим, совсем другим… И они творили его, этот «другой» мир, не только в своих стихах, но и в самой своей жизни, что порой бывает весьма опасно… По большому счету «жизнь по новым законам» выражалась в повальном увлечении кокаином и всевозможными диковинными вариациями отношений с женщинами, будь-то «браки втроем» (такие, как у четы Виардо и Тургенева; Мережковского, Гиппиус и Философова; позже – Бриков и Маяковского), или ритуальными «астартическими» оргиями у Вячеслава Иванова, или женопоклонничество и одержимость девственностью у последователей поэта Владимира Соловьева, к которым относил себя и Блок…

Однако все рано или поздно заканчивается, и Блоки возвращаются в Петербург. Но… Столь горячо любимый город на этот раз разочаровывает его. Более того, он всей душой ощущает, как холоден и отстранен этот город, как тоскливо и одиноко в нем. Блок скучает по Москве, где ждал его восторженный Сережа Соловьев и где «цвел сердцем» Белый. А здесь… Все изменилось. А главное, Любовь Дмитриевна. Его стихи о Прекрасной Даме были закончены, и свершилось то, что смутно предчувствовал он в 1902 году, то, чего он так боялся:

Но страшно мне: изменишь облик ТЫ!

Хотя… Этого и следовало ожидать. Последние несколько лет Блок жил мистикой, романтической поэзией, и все это было связано только с ней, только с Любовью Дмитриевной. А ныне… Ныне они исчерпаны. И в то время, когда в издательстве «Гриф» выходят «Стихи о Прекрасной Даме», Блок переживает внутренний переворот. А что же Любовь Дмитриевна? А впрочем, пусть она сама расскажет о первых годах своего брака и о том, чем Андрей Белый взволновал ее сердце.

«Конечно, не муж и не жена. О Господи! Какой он муж и какая [я] уж это была жена! В этом отношении и был прав А. Белый, который разрывался от отчаянья, находя в наших отношениях с Сашей „ложь“. Но он ошибался, думая, что я и Саша[,] упорствуем в своем „браке“ из приличия, из трусости и

невесть еще из чего. Конечно, он был прав, говоря, что только он [понимает] любит и ценит *меня, живую женщину,* что только он окружит эту меня тем [поклонением] „обожанием“, которого женщина ждет и хочет. Но Саша был прав по-другому (о, посколько более суровому, но и высокому), оставляя меня с собой. А я всегда широко пользовалась правом всякого человека выбирать не легчайший путь. Я не пошла на услаждение своих „женских“ (бабьих) [прав и] претензий, на счастливую жизнь [обожаемой] боготворимой любовницы. Отказавшись от этого первого, серьезного „искушения“, оставшись верной настоящей и трудной моей любви, я потом [уже] легко отдавала дань всем встречавшимся влюбленностям – это был уже не вопрос, курс был взят определенный, парус направлен, „дрейф“ в сторону <sic!> не существен.

За это я иногда впоследствии и ненавидела А. Белого: он сбил меня с моей надежной, самоуверенной позиции. Я по-детски непоколебимо верила в единственность моей любви и в свою незыблемую верность, в то, что отношения наши с Сашей „потом“ наладятся».

Глава 7
Треугольник

Следующая глава этой драмы развернулась в столь любимом Блоком Шахматове. Именно сюда летом 1904 года он пригласил близких ему Белого и Сережу Соловьева. Конечно, их ждали. Александра Андреевна радушно приняла новых друзей Блока. Да и они были поражены тем, что увидели. Старый, уютный, добротный дом… Красивые места, мирная упоительная жизнь, где полновластно царила Любовь Дмитриевна. Молчаливая, уверенная в себе молодая женщина, принимавшая как должное поклонение друзей мужа. Все это, безусловно, покорило и очаровало и Андрея Белого, и Сережу Соловьева. В это благословленное лето Блоки еще были счастливы… Пусть и по-своему, но счастливы. Разлад их еще не коснулся. Вот только Блок уже не вспоминал и даже не упоминал ни Софию Премудрость, ни «зори». Для него эта пора миновала однозначно. Но Андрей Белый и Сережа Соловьев не хотели ни понимать, ни принимать этого. Напротив, они всеми силами пытались воскресить те старые, прекрасные мгновения.

Внешне вроде бы ничего не изменилось. Их «секта» продолжала существовать. Молодые люди даже придумали историка XXII века, который станет ее биографом.

Как раньше, во всех поступках Любови Дмитриевны они искали скрытый, мистический смысл. Была ли она сегодня в красном? Значит… Это не просто так. Это знак, который нужно расшифровать. Переменила прическу? То же самое… Блок, глядя на них, лишь улыбался. В том, что Белый и Сережа Соловьев были влюблены в его жену, не приходилось сомневаться. Но у Блока не было тогда и капли ревности к этим отчаянным романтикам. Пожалуй, его немного забавляло, а иногда и шокировало, что Сережа вынимал из оклада икону Богоматери и ставил на ее место фотографию Любови Дмитриевны. Тогда еще ни Блок, ни Любовь Дмитриевна, ни, пожалуй, сам Андрей Белый не знали, что пройдет совсем немного времени, и для Белого все станет очень серьезно. Он полюбит Любу страстной земной любовью, более того, подобного сильного чувства в его жизни уже не будет.

Поэтому, перед тем как у нас на глазах начнет разворачиваться эта драма, хочется более пристально присмотреться к самой героине. Что же за женщина была Любовь Дмитриевна?

Один эпизод из гимназических лет довольно точно может

раскрыть некоторую особенность характера этой безусловно неординарной женщины. Вспоминает Евгения Книпович: «Когда я училась в гимназии Э. П. Шаффе (ныне школа имени Е. Д. Стасовой), там еще бытовало предание, как лет десять или двенадцать тому назад ученица Любовь Менделеева во время урока запустила в стену класса чернильницей. Когда еще лет шесть спустя, я спросила Любовь Дмитриевну Блок, имел ли место такой лютеровский демарш и что его вызвало, она подтвердила, что она действительно это сделала, „потому что уж очень было скучно“».

Думаю, что даже в этом малом происшествии отразился характер любимой дочки Менделеева и жены Александра Блока. И сколько бы грехов (вполне реальных) ни выискивали в личности и биографии жены Блока мемуаристы и исследователи, с каким злорадством ни повторяли бы все то недоброе, что сказано о ней в дневниках и записных книжках, остается незыблемым другое… Например строки Блока:

Люблю Тебя, Ангел-Хранитель во мгле.
Во мгле, что со мною всегда на земле.

За то, что я слаб и смириться готов,
Что предки мои – поколенье рабов,

И нежности ядом убита душа,
И эта рука не поднимет ножа…

Но люблю я тебя и за слабость мою,
За горькую долю и силу твою.

Что огнем сожжено и свинцом залито —
Того разорвать не посмеет никто!

Да… Сила этой женщины была действительно огромна. Она вошла в жизнь Блока и в его семью как сознательная разрушительница всего «бекетовского». «Яд нежности», такое воспитание чувств, которое делает человека беззащитным перед грубыми прикосновениями реальной жизни, замкнутость сознания в кругу семейных традиций и отношений, прошлое, пусть милое и благородное, которое подавляет настоящее, – все это «бекетовское» было не только враждебным ей, но и, по ее ощущению, препятствием на пути (верном пути!) ее мужа.

В «бекетовском» она не принимала попытку спрятаться от жизни, от перемен, властно вторгающихся в жизнь. Она нападала

даже на фамильные черты внешности родных мужа, на ту породистую некрасивость, какую с такой точностью показал Блок, набрасывая в статье «Михаил Александрович Бакунин» портрет своего героя. Была тут и ревность, но было и звериное и детское чутье реальной опасности.

Бескорыстная и щедрая, под стать мужу, готовая легко и без «нажима» поделиться последним, она вместе с тем вряд ли была доброй. «Божественного» в Любови Дмитриевне ничего не было. Но человеческий ее масштаб, масштаб личности – был огромен. И особой ее чертой была та детскость, которую неустанно отмечал в дневниках, письмах, разговорах ее муж. Это была именно детскость, а не инфантильность прелестного, беспомощного создания (как в «Ариадне» Чехова – «Жан, твою птичку укачало!»).

Блок много рисовал – все непритязательные, юмористические рисунки. И Любовь Дмитриевна – «маленькая Бу» (ее он рисовал больше всего) – всегда изображена на них как девочка в детском платьице, с детской важностью, но и с суровой настороженностью вступающая в «мир взрослых».

Какой-то «игрой в песочек» было ее коллекционирование старинных кружев и фарфоровых черепков («Би-и-тое, рва-аное», – нараспев комментировал ее находки Блок), и увлечение французским театром, вернее, великолепным французским языком актеров этого театра, так как пьесы – это Любовь Дмитриевна отлично понимала – были третьесортными. Выбор пьес она пыталась даже объяснить. И об этом сохранилась запись в дневнике Евгении Книповой. Блок поддразнивал жену за восхищение примадонной французской труппы Анриэтт Роджерс. «Вдруг Любовь Дмитриевна спрашивает: „Саша, что это я вчера такое умное сказала – про то, почему она только дрянь играет? (Хватается за лоб.) Вот забыла! Саша, что же это было? Такое умное!“ Он смеется с бесконечной нежностью, показывая мне на нее глазами. Я тоже смеюсь».

Но вернемся в Шахматово, где уже обозначаются контуры будущих событий. Итак… По дорожке сада идут Блок и Любовь Дмитриевна. «Любовь Дмитриевна, молодая и розовощекая, в розовом, легком капотике, плещущем в ветре, с распущенным белым зонтом над заглаженными волосами, казавшимися просто солнечными, тихо шла средь цветов и высоко качавшихся злаков. Александр Александрович, статный, высокий и широкогрудый, покрытый загаром, в белейшей рубахе, прошитой пурпуровыми лебедями, с кудрями, рыжевшими на солнце, в больших сапогах, колыхаясь кистями расшитого пояса, – „молодец добрый“ из сказок, а не Блок». Навстречу им выходят Белый и Соловьев. Любовь Дмитриевна им любезно улыбается, Белый слегка

наклоняет голову в поклоне и они все вместе идут по саду. А вечером, за самоваром, между ними будут разгораться жаркие споры. Люба все чаще хранила молчание, Блок, от природы немногословный, больше позволял высказываться другим, чем говорил сам. Но… Именно в эти несколько недель он чувствовал, что они с Белым родственные души. Близки настолько, что однажды он открыл ему сокровенное. Дескать, он себя знает… Его принимают за светлого, а он темен. А потом, торопливо, точно боясь, что сам собьется или его перебьют, стал говорить о коснении в быте, о том, что он не верит ни в какое светлое будущее, что минутами ему кажется, что род человеческий погибнет, что он, Блок, чувствует в себе косность, и что это, вероятно, дурная наследственность в нем (род гнетет), что старания его найти выражения в жизни – тщетны, что на чаше весов перевешивает смерть: все мы – погаснем все ж; иное – вне смерти – обман. Говоря это, он натянуто улыбался и старался не смотреть на Белого. Но то, что сказал, волновало его всерьез, а несколько позднее вылилось в основную тему «Возмездия». Расшифровывалось это название так: возмездие – отец Александр Львович Блок, которого он в себе чувствовал.

Признаваясь в своем сокровенном, Блок хотел таким способом показать Белому, что с прошлыми играми покончено раз и навсегда. Тем более что и сам воздух в Шахматове, как, впрочем, и во всей России, уже не такой «розовый и золотой». В войне с Японией наступил перелом, уже слышны первые раскаты революции 1905 года, и Блок, с его редким даром предвидения, уже ощутил ее приближение. Его мысли сейчас окрашены в мрачные лиловые тона:

И жалки крылья мои крылья вороньего пугала.

Сейчас у него не осталось никого, с кем бы он хотел, как раньше, улететь. Десять лет спустя в своих воспоминаниях Белый скажет: «Мы понимали, что Блок был уже без пути; брел он ощупью в том, что мы закрывали пышнейшими схемами; схемы он снял; понял, будет темно, зори – только в душе у нас; нет, он не видел уже объективной духовной зари; и он видел, что мы отходили в пределы: нарисовали свое небо; папиросную бумагу, которую прорывает легко арлекин в „балаганчике“».

Однако в это лето они еще друзья. Даже больше того, они считают себя братьями. И по старому обычаю на прощание Блок и Белый меняются рубахами. Блок отдает Андрею ту самую рубаху, на которой Любовь Дмитриевна вышила пурпурных лебедей.

Глава 8
Дуэль

В Любе уже начинает просыпаться чувственность, а Блок все твердит об отталкивающих, грубых, чувственных ритуалах служителей Астарты – богини любви, не знающей стыда. И о Той, другой Богине – о Душе Мира, Премудрой Софии, непорочной и лучезарной.

(Ах, Соловьев, Соловьев! С этой его «философией»! С этой его «богочеловеческой любовью»! С этим его «правилом» – не говорить «люблю» из мистического страха: назвав, убить любовь.)

Александр по-прежнему говорит Любе о том, что свести вместе эти полюса нельзя, невозможно, что физические отношения между мужчиной и женщиной не могут быть длительными. «Моя жизнь немыслима без Исходящего от Тебя некоего непознанного, а только еще смутно ощущаемого мною Духа. Я не хочу объятий. Объятия были и будут. Я хочу сверхъобъятий!»

Люба слушает и уже не спорит. Она понимает, что переубедить Блока невозможно. И все же… Она женщина и решает соблазнить… собственного мужа. «В один из таких вечеров, неожиданно для Саши и со „злым умыслом“ моим произошло то, что должно было произойти, – это уже осенью 1904 года. С тех пор установились редкие, краткие, по-мужски эгоистические встречи. Неведение мое было прежнее, загадка не разгадана и бороться я не умела, считая свою пассивность неизбежной. К весне 1906 года и это немногое прекратилось».

В этот же период Белый берется «за дело» с неутомимостью настоящего Дон-Жуана. Он посвящает ей все: песни, которые поет, подыгрывая себе на рояле, стихи, которые читает, не отводя от нее взгляда, цветы, какие только может найти для «Воплощения Вечной Женственности». «Не корзины, а целые „бугайные леса“ появлялись иногда в гостиной…» При этом оба – и Белый, и Любовь Дмитриевна, – не представляли опасности выбранного ими пути. «Злого умысла не было в нем, как и во мне», – писала Любовь Блок.

И чуть позже:

«Помню, с каким ужасом я увидела впервые: то единственное, казавшееся неповторимым моему детскому незнанию жизни, то, что было между мной и Сашей, что было для меня моим „изобретением“, неведомым, неповторимым, эта „отрава сладкая“ взглядов, это проникновение в душу без взгляда, даже без

прикосновения руки, одним присутствием – это может быть еще раз и с другим?»

Скоро она признается: «За это я иногда впоследствии и ненавидела А. Белого: он сбил меня с моей надежной, самоуверенной позиции. Я по-детски непоколебимо верила в единственность моей любви и в свою незыблемую верность, в то, что отношения наши с Сашей „потом“ наладятся».

Но они так и не стали такими, какими видела их Любовь Дмитриевна. Они бывали доверительными, нежными, братскими… Но никогда – такими, о каких она мечтала.

Между тем отношения между Блоком, Любовью Дмитриевной и Белым запутывались все больше. Люба чувствовала себя ненужной и покинутой. Однажды она чуть было не решилась принять предложение Белого.

«В сумбуре я даже раз поехала к нему. Играя с огнем, уже позволила вынуть тяжелые черепаховые гребни и… волосы уже упали золотым плащом… Но тут какое-то неловкое… движение (Боря был немногим опытнее меня) – отрезвило… и уже я бегу по лестнице, начиная понимать, что не так должна найти я выход из созданной мною путаницы».

Она запретит Белому приезжать в Петербург, но будет посылать ему странные письма: «Люблю Сашу… Не знаю, люблю ли тебя… Милый, что это? Знаешь ли ты, что я тебя люблю и буду любить? Целую тебя. Твоя». И сама чуть позже позовет его приехать… «Она потребовала, – рассказывал Белый, – чтобы я дал ей клятву спасти ее, даже против ее воли».

Летом 1905 года Белый и Сергей Соловьев вновь приезжают в Шахматово. Но Блок очень изменился. Перед ними предстал совершенно другой человек. Что же послужило причиной этому? В первую очередь, как это ни покажется странным, – политические события, произошедшие в России. Революция 1905 года наложила глубокий отпечаток на Блока. Точно разбудила его, вырвав из сладкого сна. Блок стал другим. Он стал серьезным и сумрачным.

Девятого января началась революция. Детонатором, приведшим весь механизм к взрыву, послужил мирный договор, подписанный с Японией. Договор унизительный для России. И… в воспаленном петербургском воздухе прозвучали пушечные выстрелы. В холодных и мрачных казармах лейб-гвардии Гренадерского полка, где на квартире у отчима жил Блок, – ждали солдаты, готовые по первому приказу расстрелять толпу. Недавняя жизнь теперь кажется Блоку всего лишь ветхой декорацией к уже давно устаревшей пьесе. И словно утратив опору, он все чаще уходит на ночь глядя из дома и мечется по

узким питерским улочкам, ища новую почву, но так и не находит ее.

Да и дома Блок совсем уже не тот. Он говорит все меньше и меньше, губы сжимаются в тонкую линию. Больше времени он проводит в своем узком длинном кабинете, занимается, много курит и стремительными темпами опустошает графин с красным вином. Отношения между Любой и Александрой Андреевной становятся все более напряженными. Мать Блока хочет, чтобы рядом с Сашей была верная, любящая жена, окружающая ее сына уютом спокойной жизни, в которой тому было бы комфортно работать. Видно же… как Саше тяжело. Смолк его смех, вокруг прекрасных глаз уже прорезались морщины… И постепенно отношения между свекровью и невесткой зашли в тупик, давя на Блока и загоняя его еще больше в «угол», тревог и сомнений.

Желая разрубить этот гордиев узел, Блоки уезжают в Шахматово, надеясь глотнуть спокойной деревенской жизни и привести свои нервы в порядок. А нервы к тому времени у Александры Андреевны расшатались изрядно. И снова, как и год назад, к ним приезжают Белый и Соловьев. Приезжают, чтобы снова ощутить свое братство… А может быть, для Белого это возможность окончательно выяснить отношения между ним, Любовью Дмитриевной и Блоком. В общем, Борис Бугаев возлагал много надежд на эту поездку…

По старой памяти он рассуждает с Сережей о братстве, о Прекрасной Даме, но… Смысл этой игры уже утерян. Белого терзают его поэтические концепции, неразделенная любовь к Любови Дмитриевне, братская привязанность к Блоку. Но самое главное, его терзает разлад, который изнутри подтачивает их отношения с Блоком. К тому же он не может не видеть и тем более не замечать раздражительность Любови Дмитриевны. А раздражает ее буквально все. Поклонение, которым ее пытаются окружить и Белый и Соловьев, – угнетает, излишняя болтливость Сергея кажется надуманной и фальшивой.

А Соловьев все пытается вернуть Блока к минувшему лету, в особую атмосферу, царившую в Шахматове, когда им так хорошо втроем. Он яростно возражает против новых мотивов в поэзии Блока, и требует вернуть «зори». Блок все больше молчит, замыкаясь в себе, а если и начинает говорить, то в каждом его слове сквозит горькая ирония, которая позже найдет свое отражение в роковом «Балаганчике». Он напишет:

И сидим мы, дурачки, —
Нежить, немочь вод.
Зеленеют колпачки,

Задом наперед.

А Сергей Соловьев и Белый, словно не понимая, что все ушло безвозвратно, опять твердят:

Отлетим в Лазурь!

И они опять ставят Блоку в пример Брюсова. Он маг! Он явно не дурачок! Он гений! Вот он-то обожает звучные стихи и знает, как заставить их полюбить. Блок на это отвечает последним и поистине гениальным «Стихом о Прекрасной Даме»:

Ты в поля отошла без возврата
Да святится Имя Твое!

Атмосфера между ними накаляется все больше и больше. Да и Александра Андреевна чувствует себя все хуже и хуже. Ей уже разонравился Соловьев, раздражает Белый, она откровенно тяготится их обществом. И вскоре, как и положено, наступает развязка. Сергей ссорится с Александрой Андреевной, и уезжает из Шахматова. Блок, разумеется, берет сторону матери, Белый – Сергея. Он тоже уезжает, но перед отъездом запиской объясняется Любови Дмитриевне в любви. Та рассказывает обо всем свекрови и мужу. Осенью Блок и Белый обмениваются многозначительными письмами, обвиняя друг друга в изменах идеалам дружбы, и тут же каются во всех мыслимых и немыслимых грехах. Любовь Дмитриевна пишет Белому, что остается с Блоком. Белый отвечает ей, что он порывает с ней, потому что понял, что в его любви не было «ни религии, ни мистики».

А она в своих воспоминаниях напишет: «Весна этого года – длительный „простой“ двадцатичетырехлетней женщины. Не могу сказать, чтобы я была наделена бурным темпераментом южанки, доводящим ее в случае „неувязки“ до истерических, болезненных состояний. Я северянка, а темперамент северянки – шампанское замороженное… Только не верьте спокойному холоду прозрачного бокала – [все возможности] весь искрящийся огонь его укрыт[ы] лишь до времени. К тому же по матери я и казачка (мама – полуказачка, полушведка). Боря верно учуял во мне „разбойный размах“; это было, это я знаю. Кровь предков, привыкших грабить, убивать, насиловать, часто бунтовала во мне и толкала на свободолюбивые, даже озорные поступки.

Той весной, вижу, когда [я] теперь оглядываюсь, я была брошена на произвол всякого, кто стал бы за мной упорно ухаживать».

А что же Блок? Он изменился еще больше. Волосы утратили золотистый блеск, румянец поблек. С него словно содрали всю кожу и остались одни оголенные нервы. В нем огромной, сметающей все на своем пути, поднимается волна беспокойства, волна ненависти против всякого рода болтовни, публичности, пустых свар между новомодными литературными журналами. В одиночестве он бродит по островам, вдоль набережных, полных заводского шума… Он получает странное, щемящее и можно даже сказать извращенное удовольствие среди пьющих, плачущих женщин. Они дарят ему покупные ласки, и на какое-то время беспокойство отпускает его. А иногда… Когда черная тоска становится совсем уже нестерпимой, он точно потерянный блуждает по улицам Васильевского острова, и ноги сами приносят его к Смоленскому кладбищу, где похоронены его обожаемые дедушка и бабушка. А за оградой, там, где заканчивается кладбище, начинается море… Он может стоять часами и смотреть, как пламенеет багровый закат. Потом, вспоминая эти годы, он напишет: «Мы еще не знаем в точности, каких нам ждать событий, но в сердце нашем уже отклонилась стрелка сейсмографа. Мы видим себя уже как бы на фоне зарева…»

Брюсов, «аргонавты» уже ушли в прошлое. И может быть, именно прежним товарищам обращены его строки:

Ибо что же приятней на свете,
Чем утрата лучших друзей.

Однако… Верно, что свято место пусто не бывает и место одних лучших друзей вскоре занимают другие. Именно тогда в жизнь Блока входят Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус. Люди, которые в начале двадцатого века считались центром притяжения русской элиты. Они были больше, чем муж и жена. Их скорее можно было назвать своеобразной партией или организацией. Он – предтеча великого обновления в русской литературе. Она – умнейшая женщина своего времени, утонченная, красивая, элегантная, со странными зелеными глазами и роскошными рыжими волосами. Она умела привлечь к себе тех, кто ей нравился, и оттолкнуть тех, кто ее не признавал. Блока они допустили к себе не сразу. Долго присматривались. Когда он впервые пришел к ним в дом, госпожа Гиппиус, достав лорнетку, пристально посмотрела на него. В этом взгляде было

все. И симпатия, и приветствие, и в то же время скепсис. Она смотрит и не понимает, зачем он, поэт, женился на вполне заурядной девушке. И что хорошего можно ждать от такого брака? У творческого человека и в личной жизни должно быть все не просто, необычно. А тут… Все так пресно.

Блок тоже относился к ним по-разному. Временами они казались ему единомышленниками, временами злился, считая, что они слишком давят и видят в нем свою собственность. А что же было на самом деле? Наверное, те отношения, которые были для Блока идеальными. И у Гиппиус, и у Мережковского было достаточно недостатков. Но… Они оба были поделать Блоку. И все втроем могли многое друг другу дать.

После разрыва с Белым мир для Блока, да и вся его жизнь разделилась на две части. К первой, куда входили «аргонавты», он испытывал безразличие, ко второй… немногочисленной, куда допускались лишь избранные, щемящий трепет. Он бесконечно дорожил этими людьми, не мог без них жить и был в вечном страхе за них. К избранному относились не только люди. В первую очередь – Петербург, а затем – Шахматове. Иногда ему казалось, что они принадлежат только ему.

В это время Блок достаточно часто и много размышляет о судьбах русских поэтов. Он анализирует век девятнадцатый и не подозревает, каким страшным станет двадцатый. И не только для поэтов, а для России в целом. Но пока еще до катаклизмов далеко. И хотя их отголоски временами дают о себе знать, в целом жизнь течет в привычном русле. Поэтому можно спокойно обратиться к прошлому. Которое и вызвало у Блока признание, вскоре ставшее классическим определением трагических судеб: «Лицо Шиллера – последнее спокойное лицо в Европе». Да… Жаль только, что среди русских поэтов не часто встретишь спокойные лица. Слишком жестока к ним была жизнь. Пушкин в тридцать семь, а Лермонтов в двадцать семь пали на дуэлях, которые можно было предотвратить. Рылеев повешен. Фет, уже будучи на пороге смерти, в весьма преклонном возрасте – ему было семьдесят, пытался распороть себе живот. Аполлон Григорьев, одаренный Феофанов, гибнут от пьянства и нищеты. Жизнь Тютчева – непрерывная вереница страданий. А уж о тех судьбах, которые не сбылись, нечего и говорить – им нет числа.

И именно в этот период времени для него особенно важными и значимыми становятся близкие ему люди. Теперь как никогда он ощущает, какими крепкими нитями связан с матерью. Появляются строчки в дневнике: «Мы с мамой частенько находимся по отношению к земному в меланхолическом состоянии». Два тома их переписки свидетельствуют о

неизменной нежности и постоянной тревоге друг о друге. Конечно, с Александрой Андреевной, страдавшей острыми приступами душевного расстройства, уживаться становилось все труднее и труднее, ее нервозность, раздражительность с годами лишь возрастали, но… Она была неотъемлемой частью его самого, она принадлежала ему целиком и полностью, и его любовь к ней не иссякала. Только с ней он мог делиться самым сокровенным, своими душевными муками и терзаниями. «Конечно, я не буду стараться устраивать раздоры, даже напротив, постараюсь не злиться, потому что нервы и так расстроены, а всевозможных дел сколько угодно. Но едва ли я буду много разговаривать». И далее он пишет: «Жду, чтобы люди изобрели способ общения, годный и тогда, когда вырван грешный язык. Лучшие слова уже плесневеют».

После революции 1905 года, находясь под сильным впечатлением от увиденного, Блок пишет матери: «Достоевский воскресает в городе… Опять очень пахло Достоевским. Пошли к устью Фонтанки за Калинкин мост и сидели на взморье на дырявой лодке на берегу, а кругом играли мальчишки, рисовал оборванный художник и где-то далеко распевали броненосцы».

В этом же году Блоки переезжают на другую квартиру. Александра Андреевна переживает, не станет ли сын отдаляться от нее.

За переезд было много обстоятельств, против – только одно: любовь матери. В это же время Блок становится невероятно моден. Он желанный гость в башне у Вячеслава Иванова, на воскресных приемах у Сологуба и у Мережковского. Он известный поэт, и от славы порой уже нигде не скрыться. Но его стихи по-прежнему пронизывает горькая ирония и отчаяние. Во время одиноких блужданий по городу он выискивает самые жалкие притоны, словно там ждет его желанная отдушина, и понимание, которое он так тщетно пытается найти в своем мире. В его стихах, письмах, статьях и даже на фотографиях отражается постоянно нарастающая смертная, неотступная тоска, словно все двадцать четыре года были постоянным душевным надрывом.

Смолк смех, постепенно исчезла и улыбка. Он все реже и реже вступает в разговоры и наконец совсем умолкает. Некогда румяное лицо пожелтело, потом обрело землистый оттенок. Волосы из золотистых стали пепельными и начали выпадать. А в стихах уже однозначно догорели и «зори» и «закаты». Остались одни туманы, снежные бури и вьюги. Пурпурный воздух превратился в лиловый, затем посерел, почернел. Внутренняя музыка, которая звучала в нем с самого детства, в которой ему слышалось дыхание вселенной, удаляется и…стихает вовсе.

Любовь Дмитриевна почувствовала себя ненужной мужу. И тут опять в ее жизни появляется Белый, который все настойчивее зовет ее бросить Блока и жить с ним. Белый говорит с Блоком – и тот отстраняется, предоставив решение жене. Она снова рвет с ним, снова мирится, опять рвет… Белый пишет Блоку письма, в которых умоляет его отпустить Любовь Дмитриевну к нему, Блок писем даже не вскрывает.

Однако Белый успокоиться не может. Он приезжает в Петербург. В ресторане Панкина происходит встреча четы Блоков и Белого, закончившаяся очередным примирением. Вскоре Белый уезжает обратно в Москву, но возвращается оттуда злой: Блок опубликовал пьесу «Балаганчик», в которой осмеял и московских «аргонавтов», и сложившийся любовный треугольник, и самого себя. Новые письма, новые объяснения и ссоры… Особое негодование у Белого вызвала фигура Коломбины – в образе глупой картонной куклы Блок изобразил его Прекрасную Даму, Любовь Дмитриевну…

На самом деле пьеса «Балаганчик» – это очень значимое для Блока произведение. Театрик канатных плясунов, где печальный Пьеро ждет свою Коломбину. Но ее, увы, отнимает у него разбитной Арлекин. Блок не случайно делает Прекрасную Даму из картона, а небо, куда улетают влюбленные, – из папиросной бумаги. Из смертельной раны покинутого любовника течет не кровь, а клюквенный сок. На это смотрят «мистики», они стоят, разинув рты, и даже перестают бормотать свои теории…

А. Белый и С. Соловьев не приняли нового направления в поэзии Блока. Тон их критики был крайне резким и даже враждебным. Некоторые строчки они отнесли на свой счет и чувствовали себя обиженными. Белый не стеснялся в выражении своих чувств: «Подделка под детское и идиотское… Блок перестал быть Блоком… Стихи возмутили меня».

Блок не предполагал, что его маленькая лирическая мистерия «Балаганчик» будет поставлена на сцене и станет событием в театральной жизни Петербурга. Постановку осуществил В. Э. Мейерхольд в театре В. Ф. Комиссаржевской. Благодаря Мейерхольду, музыке М. А. Кузмина и декорациям художника Н. Н. Сапунова спектакль получился красивым и поэтичным. Блок назвал постановку идеальной и посвятил «Балаганчик» Всеволоду Мейерхольду.

В одном из писем к Белому Блок назвал «Балаганчик» «ничтожной декадентской пьеской не без изящества». Но, видно, было в этой «декадентской пьеске» что-то близкое духу времени, если на спектаклях, по словам очевидцев, творилось «какое-то столпотворение». В зале попеременно раздавались возмущенные

крики, свист, хохот, заглушаемые бурей аплодисментов. В символических образах пьесы часть зрителей увидела намеки на политическую ситуацию в стране.

В августе 1906 года Блоки приезжают к Белому в Москву – в ресторане «Прага» происходит тяжелый разговор, закончившийся сердитым бегством Белого. Он все еще думает, что любим, и что только обстоятельства и приличия стоят на его пути. Белый приезжает в Петербург и идет к Блокам, чтобы окончательно расставить все точки над «i». Его проводят в кабинет поэта. Потом Белый вспоминал: «А Саша молчал, бездонно молчал. И мы пришли с нею к Саше в кабинет… Его глаза просили: „Не надо“. Но я безжалостно: „Нам надо с тобой поговорить“. И он, кривя губы от боли, улыбаясь сквозь боль, тихо: „Что же? Я рад“. И… по-детски смотрел на меня голубыми, чудными глазами…. Я все ему сказал. Как обвинитель… Я был готов принять удар… Нападай!.. Но он молчал… И… еще тише, чем раньше… повторил: „Что ж… Я рад…“ Она с дивана, где сидела, крикнула: „Саша, да неужели же?“ Но он ничего не ответил. И мы с ней оба молча вышли… Она заплакала. И я заплакал с ней… А он… Такое величие, такое мужество! И как он был прекрасен в ту минуту…»

Да… эта сцена очень зрима. Вот они, недавние друзья, стоят напротив друг друга в кабинете Блока. Когда Белый объявил, что должен объясниться, в лице Блока что-то дрогнуло. Он был совершенно не приспособлен к выяснению отношений, не умел доказывать и убеждать, не считал нужным обнаруживать свои чувства. Выслушав Белого, коротко ответил: «Ну что же – я рад…» Люба обессиленно опустилась на стул, и когда Белый ушел, разрыдалась. Она поняла, что с Белым у нее все закончилось. Они расстались навсегда. Но Саша! Неужели она ему настолько безразлична, что ему все равно, будет ли она верна или же станет изменять с каждым, кто попадется?

Поездка в Италию с Белым не состоялась, поскольку не могла состояться в принципе. Любовь Дмитриевна написала ему, что между ними все кончено. Белый был в отчаянии, его захлестывала ярость, он писал письма с угрозами и даже замышлял самоубийство. В его воспоминаниях есть такие слова: «Сколько дней – столько взрывов сердца, готового выпрыгнуть вон, столько же кризисов перетерзанного сознания».

Летом в Шахматово приезжает секундант Белого – Эллис, который привозит Блоку вызов на дуэль. Встретили его радушно, накормили обедом и убедили, что повода стреляться просто не существует… Белый устал, у него нервное перенапряжение. И будет очень здорово, если Эллис сможет убедить Белого отказаться от своей безумной затеи. Эллис успешно справился с

поручением. Белый не стал повторять свой вызов, но… боль и обида были так сильны и так рвались наружу, что вскоре в журнале «Золотое руно» появился рассказ Белого «Куст» с незатейливым сюжетом про то, как бездушный царь удерживает прекрасную девушку, пряча ее от Иванушки. В этой банальной сказочке было столько ядовитых намеков и они были так прозрачны, что теперь не на шутку обиделась Любовь Дмитриевна. И не только на Белого. Ей было горько, что, несмотря на все действия Белого, Блок держался спокойно, не выказывал ни обиды, ни раздражения. Любовь Дмитриевна написала Белому, что не желает иметь с ним ничего общего.

Со временем душевная боль утихла, обиды сгладились, и отношения между Белым и Блоком возобновились, хотя трещина в них осталась. Через несколько лет пережитые страдания переплавились в литературном творчестве Белого и выплеснулись на страницы романов «Серебряный голубь» и «Петербург».

Глава 9
Другая женщина

Можно было бы предположить, что после несостоявшейся дуэли отношения между Белым и Блоком закончатся. Нет… Этого не произошло. Нечто незримое и необъяснимое притягивало их друг к другу. И вот они вновь пытаются делать хорошую мину при плохой игре – будто ничего не произошло.

Однако… В следующем году (1907) между ними опять возникают разногласия. Поводом послужили последние сочинения Блока – сборник стихотворений «Нечаянная Радость». Новый поэтический сборник разительно отличался от «Стихов о Прекрасной Даме». Образы, настроение, мелодия стихотворений – все было другим. Казалось, поэт устал вглядываться в небесную высь и позволил себе посмотреть вокруг. Вместо небесного града и светлого лика он увидел лесные топи, населенные болотными тварями; современный город с усталыми, измученными людьми; кровь и жертвы начавшихся восстаний. И все же неуютная, уродливая жизнь одаривала поэта нечаянной радостью – золотыми красками осени, узорным кружевом листвы, тишиной замирающей природы:

Волновать меня снова и снова,
В этом тайная воля твоя,
Радость ждет сокровенного слова,
И уж ткань золотая готова,
Чтоб душа засмеялась моя!

Блок собирался посвятить «Нечаянную Радость» Белому, но незадолго до выхода книги снял посвящение и объяснил свое решение так: «Теперь это было бы ложью, потому что я перестал понимать Тебя. Только потому не посвящаю Тебе этой книги» (письмо от 9 августа 1906 года). Через много лет, уже после смерти Блока, Белый признал свою критику несправедливой. В воспоминаниях он назовет «Нечаянную Радость» замечательной книгой.

В 1907 году Блок и Белый участвовали в полемике, связанной с творчеством писателей-реалистов. Журнал «Золотое руно» напечатал статью Блока «О реалистах». Она явилась ответом символистам, которые ополчились на М. Горького и других авторов, объединившихся вокруг горьковских сборников

«Знание». Защищая Горького, Блок писал о его искренности, интуиции, хорошем знании жизни. Отметил он и «могущественное дуновение таланта» Л. Андреева, и интересную повесть Скитальца. Далеко не все нравилось Блоку в сочинениях реалистов, и об этом тоже говорилось в статье. В целом обзор давал полную и объективную картину текущей литературной жизни.

Отклики на статью последовали незамедлительно. Символистов (Д. С. Мережковский, Д. В. Философов) задело, что поэт высокой культуры, к тому же певец Прекрасной Дамы, проявил интерес к стихии народной жизни и опустился до уровня «некультурной» Руси. Не без издевки они объясняли этот парадокс «утомлением от собственной культурности». А. Белый не только обвинил Блока в заискивании перед реалистами, но не удержался от прямого оскорбления: «…Вы беззастенчиво писали о том, чего не думали» (письмо от 5–6 августа 1907 года).

Обычно Блок терпеливо сносил нападки бывшего друга. На этот раз Белый переступил границу дозволенного, его высказывания оборачивались откровенной грубостью. И Блок не выдержал: он потребовал немедленно отказаться от сказанного, в противном случае обещал прислать секунданта. Белый ответил двумя примирительными письмами. К вопросу о дуэли они больше не возвращались.

Вскоре Блок приехал в Москву, и между ними состоялся долгий и откровенный разговор. Оба хотели примирения и решили подвести черту под прошлыми обидами. Договорились, что никогда не позволят «третьим лицам» вставать между ними. Готовы были верить, что расхождение во взглядах не омрачит в будущем их отношений. Когда после двенадцатичасового разговора Белый провожал Блока к утреннему поезду, они дали слово всегда верить друг другу.

На деле все получилось по-другому. Вскоре между ними встал С. Соловьев, а яблоком раздора оказался первый сборник его стихотворений «Цветы и ладан». Белый отозвался на книгу своего ближайшего друга хвалебной рецензией, а Блок в статье «О лирике» основательно раскритиковал ее. В результате снова – и неприязнь, и раздражение, толкавшие Белого на поступки, в которых позже приходилось раскаиваться. Так, «в припадке боли и полемической злости» он написал обиднейшую рецензию («Обломки миров») на книгу драматических произведений Блока. Ее содержание исчерпывалось такими формулировками: «Блок – талантливый изобразитель пустоты… Блок… превратился в большого прекрасного поэта гусениц».

Недавний договор был нарушен, они снова были в ссоре,

закончившейся полным разрывом отношений. В дневнике Блока появилась такая запись: «Хвала Создателю! С лучшими друзьями и покровителями (А. Белый во главе) я внутренне разделался навек. Наконец-то!..»

Но «разделаться навек» оказалось совсем не просто. В характере Блока была особенность, мешавшая рвать старые узы: он с трудом сходился с новыми людьми, новые отношения складывались мучительно долго, и уйти от старых привязанностей было нелегко.

Во время его отсутствия друзья Белого по его просьбе уговаривают Любовь Дмитриевну ответить на его чувства. Но она уже полностью избавилась от этого увлечения. Осенью 1907 года они несколько раз встречаются – и в ноябре расстаются окончательно. В следующий раз они встретятся лишь в августе 1916 года, а затем – на похоронах Блока.

Популярность стихов Блока к этому времени достигла апогея. Бесконечные признания, записочки и телефонные звонки, досаждавшие ему постоянно, раздражали поэта, для которого «незнакомки, дымки севера» не были расхожим клише, а служили знаками чего-то невыразимого, таившего в себе смутное предчувствие грядущих катастроф. Великая актриса Вера Федоровна Комиссаржевская пригласила к себе Всеволода Мейерхольда ставить «Балаганчик».

Пока шла работа над этим спектаклем, Блок подружился со многими, кто был связан с театром Комиссаржевской, а спустя несколько месяцев он увлекся одной из актрис труппы – Натальей Волоховой. Эффектной брюнеткой, старше его на два года. Позже он напишет ей:

«Посвящаю эти стихи Тебе, высокая женщина в черном, с глазами крылатыми и влюбленными в огни и мглу моего снежного города».

Я в дольний мир вошла, как в ложу.
Театр взволнованный погас
И я одна лишь мрак тревожу
Живым огнем крылатых глаз.

Они поют из темной ложи:
«Найди. Люби. Возьми. Умчи».
И все, кто властен и ничтожен,
Опустят предо мной мечи.

И это тоже о ней.

Но… Все началось с постановки «Балаганчика». Еще до премьеры, до той самой скандально-знаменитой премьеры, Блок стал пропадать в театральных уборных Веригиной, Волоховой, Екатерины Мунт. Веселил, поддразнивал их. А однажды послал Волоховой розы со стихами, которые привели ее в восторг и смущение.

С тех пор после спектаклей они бродили по пустынным улицам или уносились в снежную даль на лихачах. Потом, разгоряченные, являлись в дом Блоков. Развеселая ватага людей Искусства, хмельная от счастья и свободы, вваливалась в гостиную, роняя на ковры комья хрусткого снега. Бывало, они засиживались в гостях у Блоков до утра.

«Мы… жили… каким-то легким хмелем», – напишет Люба. Впятером они ходили на «Башню», к Вячеславу Иванову (Таврическая, 35), где Блок впервые прочел «Незнакомку», дурачились, разыгрывали друг друга. «Иногда на маленьких финских лошадках ездили на вокзал в Сестрорецк, где пили рислинг, или в Куоккалу – кататься на лыжах. А после премьеры „Балаганчика“ устроили „Вечер бумажных дам“, когда все женщины нарядились в платья из цветной гофрированной бумаги».

Вечеринка эта была организована на квартире актрисы Веры Ивановой, сразу после премьеры «Балаганчика».

Гости «танцевали, кружились, садились на пол, пели, пили красное вино, как-то нежно и бесшумно веселясь в полутемной комнате; в темных углах сидели пары, вежливо и любовно говоря», – так описал тот «бумажный бал» Михаил Кузмин. Дамы в маскарадных костюмах, мужчины – в черных полумасках… И Наталья Николаевна – высокая, черноволосая, в закрытом черном платье с глухим воротником. Движения ее ровны и замедленны. И сама она вся – тонкая, гибкая, с победоносной улыбкой, изредка бабочкой касающейся губ.

Говорят, Блок сходил по ней с ума. Говорят, он готов был развестись в тот момент с Любовью Дмитриевной и жениться на «своей Наташе». И между тем…

Сама Наталья Николаевна в своих воспоминаниях отмечала, что любви, в сущности, и не было. Был «духовный контакт, эмоциональный, взрывной момент встреч». Ни о каких «поцелуях на запрокинутом лице» и «ночей мучительного брака» не могло быть и речи. «Это все одна только литература», – говорила Наталья Николаевна.

Веригина вспоминает, что Любовь Дмитриевна, тяжело переживавшая этот роман своего мужа, однажды пришла к своей сопернице и прямо спросила: может ли, хочет ли она принять

Блока на всю жизнь, принять Поэта с его высокой миссией, как это сделала она, его Прекрасная Дама? «Наталья Николаевна говорила мне, что Любовь Дмитриевна была в эту минуту проста и трагична, строга и покорна судьбе. Волохова ответила „нет“. Так же просто и откровенно она сказала, что ей мешает его любить любовью настоящей еще живое чувство к другому, но отказаться сейчас от Блока совсем она не может. Слишком упоительно и радостно духовное общение с поэтом».

Так было или нет – кто знает? Но достоверно известно, что с тех пор Волохова и Любовь Дмитриевна подружились.

Завершился зимний сезон. Закончилась эта пленительная игра в любовь. Написан цикл «Снежная маска». Это гимн любви, но гимн, если внимательно вчитаться, несколько странный.

Та, кому посвящен этот цикл – Наталья Николаевна Волохова – именно так расшифровываются таинственные инициалы, – была читательницей внимательной. Вот что написала она на экземпляре «Снежной маски»: «Радостно принимаю эту необычайную книгу, радостно и со страхом – так много в ней красоты, пророчества, смерти. Жду подвига. *Наталия».*

Какого подвига? Внешнего – возможно, окончательного разрыва с женой и ухода к ней, Волоховой (а это обсуждалось), либо подвига внутреннего – преодоления мощного зова смерти, который даже в этих написанных на небывалом подъеме стихах прорывается то там, то здесь? В одном месте он называет ее третьим крещением («Крещеньем третьим будет – Смерть»), в другом – веселой («Веселится смерть» – здесь уже, правда, с маленькой буквы; большой подгулявшая смерть не удостоилась; «Гуляет смерть») и в конце концов, в стихотворении «Обреченный», признается: «Тайно сердце просит гибели».

Добрая и жизнерадостная приятельница поэта Валентина Веригина, поведавшая в своих мемуарах про новогодние розы со стихами, вспоминает, что «вокруг выражения „крылатые глаза“ между поэтами возник спор: хорошо ли это, возможно ли глаза называть крылатыми». О том, возможно ли крылатой называть смерть, споров не возникло. Привыкли, должно быть: у Блока смерть перелетает из стихотворения в стихотворение, из цикла в цикл, из книги в книгу…

Однако отношения закончены. Волохова была убеждена – быть другом Блоку намного лучше, а главное проще, чем женой или любовницей. И она, сохранив на долгие годы дружбу с Любовью Дмитриевной, уходит из жизни поэта. Блок пишет в дневнике: «Мама… жить становится все трудней, очень холодно. Полная пустота кругом: точно все люди разлюбили и покинули, а впрочем, вероятно и не любили никогда. Очутился на каком-то

острове в пустом и холодном море… На остров люди с душой никогда не приходят. На всем острове только мы втроем, как-то странно относящиеся друг к другу, – все очень тесно… Тем двум женщинам с ищущими душами, очень разным, но в чем-то неимоверно похожим, тоже страшно и холодно».

С тех пор Блок снова предпочитал иметь дело с проститутками – да еще и с самыми грубыми, с самыми опустившимися из них. Его дневник содержит, к примеру, такое откровение: «25 января. Третий час ночи. Второй раз. Зовут ее Мартой. У нее большие каштановые косы, зелено-черные глаза, лицо в оспе, остальное – уродливо, кроме страстного тела. Она – глупая немка. Глупо смеется и говорит… Кто я – она не знает. Когда я говорил ей о страсти, она сначала громко хохотала, а потом глубоко задумалась. Женским умом и чувством, в сущности, она уже поверила всему, поверит и остальному, если б я захотел. Моя система – превращение плоских профессионалок на три часа в женщин страстных и нежных – опять торжествует».

Это было время его разочарований – впрочем, весьма для Блока плодотворное. Он писал свои самые сильные и яркие (во всяком случае, по мнению современников) циклы стихов «Снежная маска», «Город», потом «Страшный мир», «Возмездие». Там живой, страстной болью отразилось все: кабаки, к которым пристрастился поэт, ощущение общественной смуты, отступничество той, которую он считал своим божеством…

Любовь Дмитриевна стала заводить любовников. Блок и сам понимал, что не вправе ее винить. «Ответом на мои никогда не прекращавшиеся преступления были: сначала А. Белый, потом Г. Чулков и какая-то совсем мелочь Ауслендер… потом хулиган из Тмутаракани – актеришка – главное. Теперь – не знаю кто», – написала Любовь Дмитриевна, относившаяся к своим эскападам куда строже, чем сам Блок.

20 января 1907 года скончался Дмитрий Иванович Менделеев. Любовь Дмитриевна была сильно подавлена этим. На время ее романы плавно сошли на нет. В конце весны она – одна – уезжает в Шахматово, откуда шлет мужу нежные письма – словно ничего и не произошло. Он отвечает ей не менее нежно.

Зимой Любовь Дмитриевна поступает в труппу Мейерхольда, которую тот набирает для гастролей на Кавказе. Выступала она под псевдонимом Басаргина. Таланта актрисы в ней не было, но она очень много работала над собой. Пока она была на гастролях, Блок расстался с Волоховой. А у Любови Дмитриевны завязывается новый роман – в Могилеве она сходится с начинающим актером Дагобертом, на год моложе ее. Об этом увлечении она немедленно сообщает Блоку. Они вообще

постоянно переписываются, делясь всем, что у них на душе. Но тут Блок замечает в ее письмах какие-то недомолвки… Все разъясняется в августе, по ее возвращении: она ждала ребенка. Любовь Дмитриевна, ужасно боявшаяся материнства, хотела избавиться от ребенка, но слишком поздно спохватилась. С Дагобертом она к тому времени давно рассталась, и сейчас была в полном смятении.

У Августа Стриндберга, кумира того времени, есть поразительная, не имеющая аналогов в мировой драматургии пьеса «Отец», которую Блок хороню знал. Герой ее, ротмистр Адольф, страстно желает, чтобы его существование было продолжено за пределами его земного бытия. Продолжено в детях, конкретно – в дочери, но поскольку уверенность, что это его дочь, то есть уверенность в собственном отцовстве разрушена, то разрушена и вера, что он не исчезнет бесследно. Вот уж кто не может сказать о себе, что «он – менее всего конец, более всего – начало». Однако терзается ротмистр не только или даже не столько за себя, сколько за мужчину вообще. Женщина – та ни на мгновение не сомневается, что ее дитя – это ее дитя, поэтому страх смерти у нее или вовсе отсутствует, или значительно ослаблен, а какой отец, – рассуждает ротмистр, – может дать гарантию, что он действительно отец! «Говорил бы уж: ребенок моей жены».

Именно так мог бы сказать Александр Блок. Но – не сказал. Принял ребенка Любови Дмитриевны как своего и в результате испытал то, чего особенно боялся.

«Мне было бы страшно, если бы у меня были дети», – признался он несколько лет спустя поэту Княжнину, у которого родилась дочь и который, сообщая об этом Блоку, известил того о кончине малолетнего сына другого поэта, Владимира Пяста. (Блок был крестным этого мальчика.) Почему страшно? Потому что ребенок может умереть, а что это такое, он познал на собственном опыте.

…Когда 9 августа 1908 года Любовь Дмитриевна, вернувшись с гастролей, объявила мужу, что беременна, он не выказал ни удивления, ни гнева, ни любопытства. По всей видимости, ждал нечто подобного. Еще весной она писала ему из Херсона: «… Теперь опять живу моей вольной богемской жизнью. Я не считаю больше себя даже вправе быть с тобой связанной во внешнем, я очень компрометирую себя… Такая, как я теперь, я не совместима ни с тобой, ни с какой бы то ни было уравновешенной жизнью… Определенней сказать не хочу, нелепо… Ответь скорей и спроси, что хочешь знать, я все могу сказать тебе о себе».

Он ответил незамедлительно. На конверте стояла пометка:

«Мне нужно знать, – полюбила ли ты другого или только влюбилась в него? Если полюбила – кто это?» Почти кричит он, понимая, что именно сейчас их хрупкий мирок рухнет и раздавит его своими обломками.

Весну сменило лето, но ясность не наступила. «Всего ужаснее – неизвестность», – пишет он за две недели до ее возвращения. Это его письмо расходится в пути с ее письмом, посланным двумя днями позже. «Я приеду к тебе, я отдам тебе всю свою душу и закрою лицо твоими руками и выплачу весь ужас, которым я себя опутываю. Я заблудилась, заблудилась».

И она приехала, чтобы окончательно объясниться. Конечно, он ее принял. И ее, и будущего ребенка, который, решил без колебаний, будет отныне и его ребенком. «Саша его принимает», – пишет Любовь Дмитриевна его матери – его, но не своей. Своей решила пока не говорить – по совету мужа. Вообще никому… «Пусть знают, кто знает мое горе, связанное с ребенком, а для других – просто *у нас* будет он».

Сохранилось еще одно документальное свидетельство того времени – план пьесы о литераторе, жена которого долго была в отъезде, писала сначала веселые письма, потом – не очень веселые, а затем и вовсе замолчала. И вот: «Возвращение жены. Ребенок. Он понимает. Она плачет. Он заранее все понял и все простил. Об этом она и плачет. Она поклоняется ему, считает его лучшим человеком и умнейшим».

Замысел датируется ноябрем 1908 года.

Очевидцы вспоминали, что Александр Александрович в то время часто задумывался о том, как будет воспитывать своего сына. Лицо его в такие минуты приобретало мечтательное выражение… Для Блока рождение ребенка могло стать своего рода спасением. Малыш мог принести в его жизнь стержень, которого ему так не хватало. Впервые они с женой по-настоящему счастливы. Беременность Любови Дмитриевны как никогда сближает их. Он понимает, что сын – его сын – это их шанс на спасение, последняя надежда, светлый лучик, который озарит их жизнь.

Однажды Любови Дмитриевне стало нехорошо, и ее срочно отвезли в больницу. Блок постоянно звонил, справлялся о ее здоровье, простаивал часами у палаты… Но состояние Любови Дмитриевны оставляло желать лучшего. Ей становилось все хуже и хуже. И когда начались эти долгожданные трудные роды, ситуация сложилась действительно критическая. Наконец все разрешилось. Родился мальчик, которого назвали в честь дедушки Менделеева Дмитрием. Блок был невероятно рад. У него сын! Он приходил к Гиппиус и, сидя в кресле, рассуждал: «Как

теперь Митьку воспитывать?!» Ведь понятно, что в стране Бог весть что делается. Но… Жизнь снова повернулась к Блоку не лучшей стороной. Вначале улыбнувшись, она обратила эту улыбку в гримасу. На восьмой день Митя умер. Блок очень тяжело пережил его смерть. И после похорон напишет знаменитое стихотворение «На смерть младенца».

Когда под заступом холодным
Скрипел песок и яркий снег,
Во мне, печальном и свободном,
Еще смирялся человек.

Пусть эта смерть была понятна —
В душе, под песни панихид,
Уж проступали злые пятна
Незабываемых обид.

Уже с угрозою сжималась
Доселе добрая рука.
Уж подымалась и металась
В душе отравленной тоска…

Я подавлю глухую злобу,
Тоску забвению предам.
Святому маленькому гробу
Молиться буду по ночам.

Но – быть коленопреклоненным,
Тебя благодарить, скорбя? —
Нет. Над младенцем, над блаженным
Скорбеть я буду без Тебя.

Литератор Вильгельм Зоргенфрей, с которым он был в дружеских отношениях, рассказывает в своих воспоминаниях о поэте, как тот встретился ему на Невском проспекте «с потемневшим взором, с неуловимою судорогою в чертах прекрасного гордого лица и в коротком разговоре сообщил о рождении и смерти сына».

Позже тот же Вильгельм Зоргенфрей, нечаянный свидетель отчаяния поэта, получил от него письмо, где Александр Александрович говорил о страсти к жизни. «Я Вам не хвастаюсь, что она во мне сильна, но и не лгу, потому что только недавно испытал ее действие. Я определенно хочу жить и вижу впереди много простых, хороших и увлекательных возможностей».

Противоречие? Да. Но в этом весь Блок. Жажда жить в нем постоянно боролась с жаждой умереть. Кто из них перевешивал? Разумеется, последняя. Но для этого было много причин.

Осень 1908 года. Блоки сидят вдвоем в своей любимой комнате – он за столом, поближе к деревянной резной папиросница. Она – сжавшись комочком в кресле. Александр Александрович пьян и болен – сифилис разрушает его организм и его нервы, – хождения к проституткам не прошли даром. Окно комнаты заклеено цветной восковой бумагой, изображающей коленопреклоненного рыцаря и даму. Дневной свет, проникающий сквозь стекла, бросает на супругов пестрый отблеск, как витраж. Рыцарь и Прекрасная Дама – вот злая ирония…

И опять в жизни Блока пустота. Опять женщины, имен которых он не знает, лиц которых не помнит.

И осколок в сердце. И приросшая к губам презрительная улыбка. И воспоминания о первой своей любви, рождающие в его стихах все те же бездонные омуты синих глаз, страусовые перья на шляпе, шуршащие шелка и флер вуали… Закончилась ли та История любви? Будто бы… И опять в его жизни женщины, чьих лиц, рук, силуэтов он не может ни вспомнить, ни различить. А еще… Тягостная пустота внутри.

Глава 10
«Бродячая собака»

Смерть Мити стала для Блока своеобразной чертой, разделившей жизнь на «до» и «после». Теперь уже не будет, как прежде. Закончилось время, когда Блок смотрел вперед и понимал, зачем он послан в этот мир. Казалось, потеряв сына, он потерял не только смысл в этой жизни, но и нечто еще более важное. То, что держало его в этой жизни, из-за чего в принципе стоило жить.

Ни работа, ни друзья не приносили прежней радости. А еще Люба. Она опять оставляет его одного. И ему уже не прорваться сквозь это одиночество. Он ощущает себя не просто неприкаянным в этом мире, он чувствует себя совершенно инородным элементом, который должен вот-вот соскочить с этой орбиты в небытие.

В дневнике Блока появляются такие строки: «Проснувшись среди ночи под шум ветра и моря, под влиянием ожившей смерти Мити, и от какой-то давней ожившей тишины, я думаю о том, что вот уже три-четыре года втягиваюсь незаметно для себя в атмосферу людей, совершенно чуждых для меня, политиканства, хвастливости, торопливости, гешефтмахерства. Источник этого – русская революция, последствия могут быть и становятся уже ужасны».

Ему плохо, он пьет все больше и больше. Любы рядом нет, и тишина, окружающая его, становится невыносимо оглушающей. Именно тогда Блок пишет матери: «Мама… мне жить нестерпимо трудно. Такое холодное одиночество – шляешься по кабакам и пьешь. Правда, пью только редкими периодами, а все остальное время – холоден и трезв, злюсь, оскаливаюсь направо и налево…

Чем холоднее и злее эта неудающаяся „личная“ жизнь (но ведь она никому не удается теперь), тем глубже и шире мои идейные планы и намерения».

Однако планы и идеи, выглядевшие заманчиво ночью, кажутся пустыми и никчемными днем. Чтобы хоть как-то спастись от надвигающейся глубокой депрессии и заполнить образовавшуюся в его жизни пустоту, он собирает вокруг себя толпу собутыльников, с которыми куролесит ночи напролет.

Вокруг Блока по-прежнему теснятся несколько друзей – люди малоодаренные, но… Ему сейчас не до претензий. Было бы с кем приятно провести вечер за выпивкой, болтовней о том о сем, в бесцельных скитаниях по городу. И чтобы не оставаться одному,

Блок мирится с их обществом. Он пишет в дневнике: «Первая неделя поста была немного безумна, мучительна и темна… Но подлинной жизни у меня нет. Хочу, чтобы она была продана по крайней мере за неподдельное золото… не за домашние очаги и страхи».

Исключение из этого правила составляет Пяст: «Человека нужно оценивать не по судьбе, а по залогам души», – сказал Розанов. Пяст был очень талантлив, но не написал ничего примечательного. Ощущал себя человеком трагическим, но внешне его жизнь ничем не отличалась от жизни праздного неудачника, прожигающего день за днем в дешевых кабаках. Заливая вместе с Блоком свое мучительное одиночество, он был одержим манией самоубийства. Можно довольно образно представить, как Пяст методически прилаживает петлю к металлическому крюку. Горит керосиновая лампа, тараканы шуршат под оборванными обоями, но человек с водянисто-бледным неподвижным лицом не замечает ничего. Через несколько секунд все будет кончено, и он навсегда освободится от этого невыносимого одиночества. Но потом в последний миг передумывает… Зная, что пройдет немного времени и все повторится. И что самое примечательное, Пяст действительно «умер» между 1905 и 1910 годом. Поэтому все, что произошло в смутный 1917 год, уже не имело для него никакого значения.

По большому счету все в фигуре Пяста было противоречиво и доведено до крайности. Он был добр, услужлив и неизменно вежлив, но все его сторонились. Он был одаренным поэтом, но его стихи непонятным образом вызывали лишь неприятные эмоции и оттого никому не нравились; он любил шутки, но от его смеха присутствующим становилось не по себе. Он был отчаянно одинок. У него не было ни одной счастливой любви, да и друзей тоже. За одним лишь исключением. Этим исключением был Блок.

Но и тот забывал об их дружеских попойках, когда с гастролей возвращалась Любовь Дмитриевна. Блок становился счастливым и радостным. Ее прелесть, ее милые жесты, улыбающееся лицо успокаивают его. Люба наводит в его доме и в его жизни порядок. И он доволен. В доме чисто, висят свежие занавески, расставлены книги в шкафу. Но проходит несколько дней, и Люба уезжает. Блок опять остается один, погружается в молчание, грустнеет и на его лице застывает «каменная улыбка».

Мать, волнуясь задушевное состояние сына, предлагает поехать в Шахматово, но Блок отказывается. Его больше не тянет в деревенскую глушь, где так же скучно и одиноко, как в городе. Но главная причина в другом – ему недостает мимолетных встреч, ставших для него своего рода наркотиком. Встреч, без

которых он уже не мыслит свою жизнь.

А чуть позже он признается матери: «Я провел необычайную ночь с очень красивой женщиной. Я… же после перипетий очутился в четыре ночи в какой-то гостинице с этой женщиной, а домой вернулся в девятом».

Некоторых женщин из этих мимолетных встреч мы можем узнать в его стихах, но большинство из них исчезли бесследно. Чаще всего в эти хмурые дни Блок пропадал в разных кабачках, но иногда он появлялся в очень модном среди питерской богемы подвальчике «Бродячая собака». Он был настолько популярен в то время, что заслуживает особого внимания.

Основал «Бродячую собаку», а затем и «Приют комедиантов» Борис Константинович Пронин. На его визитной карточке было написано: «Доктор эстетики Honoris Causa». Впрочем, второй громкий титул мало кто успевал прочитать, поскольку веселый и сияющий «доктор» тотчас заключал вас в объятия. Пронин всем говорил «ты» и каждого приглашал в «Петербургское художественное общество», так официально называлась «Бродячая собака». Сам подвал был небольшой, устроенный на медные гроши, собранные по всем знакомым. В нем могло поместиться от силы человек сорок, а уж если набивалось шестьдесят, то повернуться было негде.

Программы вечера по обыкновению не было, Пронин все устраивал на-авось. Иногда это звучало так: «Федя (Шаляпин) обещал сегодня спеть, но если он не придет, заставим Мушку (дворняжка Пронина) танцевать кадриль. Вообще наворотим чего-нибудь».

Собирались в «Бродячей собаке» три раза в неделю: в понедельник, среду и субботу. Публика подходила не раньше двенадцати. Но… уже где-то около одиннадцати к подвальчику съезжались «фармацевты». Так на жаргоне «Собаки» назывались случайные посетители, иными словами лица, которые никоим образом не принадлежали к боге. Они платили за вход три рубля, пили шампанское и всему удивлялись. Первое, что приводило их в недоумение, – это трудности, преодолевая которые можно было попасть в подвал. Судите сами… Вначале нужно было разбудить сонного дворника, пройти два засыпанных снегом двора, в третьем завернуть налево, спуститься вниз ступеней десять, толкнуть обитую клеенкой дверь и только после этого попасть в сие очень своеобразное заведение. Почему своеобразное?

До потому, что перед вами открывался совершенно иной мир. Едва вы переступали порог, как вас ошеломляли музыка, духота, пестрота стен, шум электрического обогревателя. Гардеробщик, уже заваленный шубами и тужурками, отказывается что-либо

принимать, он смотрит на вас и, хитровато улыбаясь, говорит: «Нету местов». Дамы прихорашиваются перед маленьким зеркалом в коридоре, а вы растерянно оглядываетесь по сторонам. Но не успели вы чуть-чуть прийти в себя, как к вам тот час подлетает дежурный член правления «Собаки», он требует три рубля, если вы «фармацевт», или полтинник, если вы принадлежите к своей братии. Наконец появляется сам Пронин и сразу заключает вас в жаркие объятия. Громкий бас провозглашает: «Ба! Кого я вижу! Где ты пропадал?! Иди! – Широкий жест в неопределенном направлении. – Наши уже собрались!» Конечно, вы слегка ошарашены таким приветствием, особенно если видите Пронина впервые в жизни. Но потом вы поймете, что такие эскапады в порядке вещей. Пронин встречает подобным образом, чуть ли не каждого посетителя «Собаки».

Комнат в подвальчике всего три. Буфетная и два зала. Один побольше, другой совсем крохотный. В прошлом «Собака» была обычным погребом. Теперь стены заведения расписаны известными художниками того времени – Судейкиным, Белкиным и Кульбиным.

В главной зале вместо люстры висит выкрашенный сусальным золотом золотой обруч, ярко горит огромный камин. На одной из стен – большое овальное зеркало. Под ним длинный диван – особо почетное место. Низкие столы, соломенные табуретки. Когда «Собака» уже перестала существовать, все это с насмешливой нежностью вспоминала Анна Ахматова.

Да, я любила их – те сборища ночные,
На низком столике стаканы ледяные,
Над черным кофием голубоватый пар,
Камина красного тяжелый зимний жар,
Веселость едкую литературной шутки.

А известный тогда поэт Кузмин сказал еще четче:

Здесь цепи многие развязаны,
Все сохранит подземный зал,
И те слова, что ночью сказаны,
Другой бы утром не сказал.

Действительно, сводчатые комнаты «Собаки», заволоченные табачным дымом, становились к утру немного сказочными, напоминая декорации к Гофману. В главной зале стояли колченогие столы и соломенные табуретки, прислуги не было. За

едой и вином посетители сами отправлялись в буфет. По большей части это были «свои люди» – поэты, актеры, художники, и весь беспорядок был им по душе, оттого и ничего менять в «Бродячей собаке» никто не хотел.

И в самом деле… На эстраде кто-то читает стихи, его перебивают, звучат громкие звуки рояля… Тут же кто-то ссорится, кто-то объясняется в любви. Пронин в жилетке гладит свою собаку Мушку, пьяный, со слезами на глазах, приговаривает: «Ах, Мушка, Мушка, зачем ты съела своих детей?» А за соседним столиком Маяковский обыгрывает кого-то в орлянку и громко, точно ребенок, радуется каждому выигрышу. Жена художника Судейкина, похожая на куклу, танцует на эстраде полечку – свой коронный номер. А сам мэтр Судейкин, скрестив по-наполеоновски руки и зажав трубку в зубах, мрачно стоит в углу и наблюдает за женой. Барон Врангель, то вкидывая в глаз, то, наоборот, роняя свой монокль, не обращает внимания на свою спутницу, знаменитую Палладу Богданову-Бельскую, сидящую рядом с ним, закутанную в диковинные шелка, обрамленные заморскими перьями.

За поэтическим столом идут упражнения в написании шуточных стихов. Поэты ломают свои светлые головы, что бы такое изобрести эндакое. Наконец кто-то из них предлагает компромиссный вариант. Каждый должен сочинить стихотворение, в каждой строчке которого должно быть сочетание слогов «жо-ра». И вот пошла работа… Скрипят карандаши, лица сосредоточились, и поэтическая братия старательно строчит на бумаге. Наконец время иссякло и все начинают читать свои шедевры.

Тот, чьи стихи признаны лучшими под аплодисменты товарищей, идет записывать свою нетленку в «Собачью книгу» – фолиант размером в аршин, переплетенный в пеструю кожу. Здесь все: стихи, рисунки, жалобы, объяснения в любви и даже рецепты от запоя.

Здесь, в этом веселом и очень специфическом месте, Анна Ахматова встречалась с Блоком. Она обычно появлялась там в четыре часа утра, когда уже вся публика была изрядно навеселе. В подвале сизая дымка табачного дыма, везде валяются пустые бутылки. Мало кто сидит за столиками посередине зала, больше по углам, у пестро расписанных стен, под заколоченными окнами. Не все ли равно, что там на улице в Петербурге, да и в целом мире тоже… От выпитого вина кружится голова, дым застилает глаза. Разговоры идут полушепотом.

И вдруг оглушительная, шалая музыка. Дремавшие вздрагивают, рюмки подпрыгивают на столах. Пьяный музыкант

ударил по клавишам. Ударил, оборвал, заиграл что-то другое… Тихое и грустное. Лицо игравшего красно и потно. Слезы падают из его блаженно-бессмысленных глаз на клавиши, залитые ликером. Ахматова даже не обернется в его сторону. Она сидит у камина, прихлебывает черный кофе и курит тонкую сигарету. От ее стола только что отошел Блок. Он сказал несколько вежливых слов о новых стихах Ахматовой, но для нее они до сих пор звучат чудесной музыкой. Она даже не пытается скрывать, что влюблена. Впрочем, нет. К Блоку Ахматова пронесет глубокое чувство через всю жизнь, хотя они никогда не будут близки. Но сила притяжения будет настолько велика, что ее муж – Николай Гумилев, так и не сможет с этим смириться. И может быть, причина множества разногласий между двумя великими поэтами кроется именно в этом задумчивом взгляде, которым темноволосая красивая женщина провожает высокую статную фигуру.

Но вот к Анне Андреевне подходят несколько человек. Так… Ничего особенного. Поклонники, бывшие возлюбленные. К ним у Гумилева нет ревности, он знает – это пустое, мимолетное. А Ахматова даже не обращает на них внимание. Она бледна больше обычного, концы губ опущены, ключицы резко выдаются, а глаза глядят холодно и неподвижно, будто не видят ничего перед собой.

Все мы грешники здесь, блудницы,
Как невесело вместе нам.
На стенах цветы и птицы,
Томятся по облакам.

А Блок уходит из «Бродячей собаки», чтобы перебраться в кабачок еще более низкого ранга. Ему скучно. Скука этого времени – явление особенное, которое очень четко характеризует основное настроение интеллигенции. Скука перешла в двадцатый по наследству от девятнадцатого. Но, конечно, она была далека от того унылого оцепенения, которое охватило страну ранее, поразив до мозга костей русскую провинцию, затерянную посреди степного бездорожья, вдали от крупных городов. У той скуки были два основных симптома. Застой в умах и переполненные желудки. Это была не та скука, которой плодотворно страдали чеховские герои.

Скука, охватившая богемную среду, была похожа на теплицу, где тысячи людей томились в бесплодной, опасной, безнравственной изоляции, лишенные всякой связи с огромной народной массой, нищей и невежественной. Именно в это

смутное время скука приобрела сверхмасштабные размеры и наиболее причудливые формы. Тогда и родились строки Мандельштама:

Нам ли, брошенным в пространстве,
Обреченным умереть,
О прекрасном постоянстве
И о верности жалеть.

Вернисажи, маскарады, эстетические чаи разных артистических дам, где с полночи до утра собираются скучать разные изящные бездельники. Все те же лица и одни и те же разговоры. Проходят годы, меняются фасоны пиджаков и узоры галстуков, и больше, в сущности, ничего. Девицы, увлекающиеся Долькрозом, сидят и манерно дымят египетскими папиросами из купленных у Треймана эмалированных мундштуков. Молодые люди с зализанными проборами, в лакированных туфлях, пишущие стихи или сочиняющие сонеты. Костюмы – утрированно изящны, разговоры – томно жеманны. Это сущность этих вечеринок. Начались они после революции 1905 года, закончатся в 1917 году. Страшно закончатся. Но пока… Все скучно. В декадентских квартирах витают фразы… «Общественность? – Скука. Политика – пошлость! Работа – Божье наказание, от которого мы, к счастью, избавлены!» Богатые тем, что у них есть деньги. Бедные тем, что можно попрошайничать у богатых.

Эта страшная теплица, где правит бал мир уайльдовских острот, зеркальных проборов, и где ничего в сущности не происходит. Очень точно сказал Кузмин:

Дважды два четыре,
Два да три пять,
Вот и все, что мы можем,
Что мы можем знать.

И в продолжение этой темы звучит еще один голос:

Нам философии не надо,
И глупых ссор.
Пусть будет жизнь одна отрада,
И милый вздор.

О том, чем закончится этот «милый вздор», никто пока не

думает. И даже не догадывается, что все самые жуткие кошмары воплотятся наяву. Будет это примерно так… Когда в оранжерейную затхлость жизни красивой и беззаботной ворвется февраль 1917 года, те, кого еще этот уайльдовский мир до конца не доконал, те, в ком еще осталось что-то человеческое, бросятся в революцию, на свежий воздух, радостно приветствуя грядущие перемены. Но… Потом спустя несколько месяцев поймут, насколько опасная вещь резкая смена погоды и температуры.

Но сейчас еще слишком далеко до семнадцатого года. Пока еще все скучают. Скучает и Блок. Правда, на свой манер. Часами лежа в постели, он наблюдает за возней мух на окне и размышляет о природе скуки и лени в России. А потом записывает, что вся история страны – сплошные превращения скуки, из века в век выливавшиеся на этих бескрайних просторах, под этим ненастным небом, то в тупую покорность, то в дикую жестокость, то в беспробудную лень.

Блок как никто другой остро чувствовал приближающуюся катастрофу. Более того, понял, что предотвратить ее невозможно. Именно поэтому и прокричал своим товарищам:

Завесьте ваши лица!
Посыпьте пепом ваши головы!
Ибо приблизились сроки!

Понимая, что конец этой жизни уже близок, Блок начинает писать серию статей, пытаясь докричаться, достучаться к своим собратьям. Блок пишет: «На улице ветер, проститутки мерзнут, люди голодают, людей вешают, а в стране реакция, а в России – жить трудно, холодно, мерзко. Да хоть бы все эти нововременцы, новопутейцы, болтуны – в лоск исхудали от собственных исканий, никому на свете, кроме „утонченных“ натур, не нужных, – ничего в России не убавилось бы и не прибавилось бы…

…Не все можно предугадать и предусмотреть. Кровь и огонь могут заговорить, когда их никто не ждет. Есть Россия, которая, вырвавшись из одной революции, жадно смотрит в глаза другой, может быть более страшной».

Блок переживает внутренний кризис, понимая всю бессмысленность жизни и все чаще погружаясь в мутные воды алкоголя, он, как ни странно, четче и определеннее чувствовал атмосферные колебания, сотрясавшие страну. Более того, Блок страдал маниакальной идеей, что вся Россия, и в первую очередь Петербург, исчезнут с лица земли, подобно Римской империи. Причем додумался до этого он не сам, а перечитывая Достоевского… Неожиданно для себя осознал, насколько хрупко

все, что его окружает. Сквозь каменные стены города, с ужасающей ухмылкой, словно издеваясь над ним, проглядывает жуткий скелет. Он пытается залить вином страшное предчувствие, что все внешнее скоро рухнет, кончится привычная жизнь и вся страна погибнет. Ведь сказал же Достоевский, что однажды Петербург исчезнет, как дым. И теперь он мучается оттого, что если солнце и ветер развеют столь любимый им питерский туман, то на тысячи верст вокруг останутся лишь болота да степи. Он с грустью пишет:

Ты видишь ли теперь из гроба,
Что Русь, как Рим, пьяна тобой.

Да, все обречено на гибель. И он пытается в своих статьях предостеречь, выступая точно глашатай тревоги. Но ему не желают верить, не хотят слышать. А он не может найти себе места. Ведь грядущая катастрофа грозит уничтожить все, что ему так дорого. Жизнь в Петербурге, безмятежность Шахматова и милый дедовский уклад. Все это будет сметено роковой, неумолимой силой.

Его душевное состояние близко к серьезному расстройству. В записной книжке он пишет: «Все тихо. Вдруг из соседней комнаты голос: А-а! А-а!

– Что с тобой? Что с тобой?

Выбегает, хватаясь за голову.

– Как все странно кругом. Я видел сон. Раздвинулся занавес. Тащутся сифилитики в гору. И вдруг – я там. Спаси меня!»

И далее. «Кошмары подступают, уже рта не раскрыть». Любовь Дмитриевна, приехав домой, ужаснулась тому, как изменился Блок. Нужно было срочно принимать какие-то меры, ибо еще немного и место ему было бы в лечебнице для душевнобольных. Она уговаривает мужа уехать отдохнуть в Италию. Страна, в которой до сих пор жива эпоха Возрождения, всегда притягивала к себе Блока, и вскоре он, точно ребенок, радостно собирается в дорогу.

Он уверен, что именно в залитой солнцем стране они сделают новый шаг навстречу друг другу. Их жизнь еще может наладиться. Она будет ухаживать за ним, а он ее любить. Ведь она единственная. Блок пишет, как похорошела, как помолодела Люба в Венеции, как он любит ее милое лицо, ее беззаботность, ее детские шалости. Далее в записной книжке он отмечает: «Смерти я боюсь и жизни боюсь, милее прошедшее, святое место души – Люба. Она помогает – не знаю чем, может быть тем, что отняла».

Ему нравится смотреть, как она идет на пляж, как нежится на

волнах синего моря. Но однажды он проснулся, а Любы в домике не было, в ужасе он выбежал на берег. И… не увидел ее. Все самое худшее, то, о чем он даже боялся подумать, всколыхнулось в душе. Он опустился на морской песок и закрыл лицо руками. Как же теперь?! Как же один?! Она ему так нужна! Ужас охватил душу своими цепкими ледяными лапами. Но вот сзади раздались едва слышные шаги, и кто-то невидимый обхватил мокрыми руками его лицо. Блок обернулся. Перед ним стояла Люба и улыбалась. Он зарылся лицом в ее мокрые от морской воды волосы и разрыдался.

А на следующий день они уехали в Рим. Побывали в Академии, во Дворце Дожей. Ему нравится итальянское Возрождение, больше всего сцены Благовещенья. Любуясь картинами, он все больше погружается в атмосферу времен Прекрасной Дамы. Но и здесь, под южным небом Италии, Блок не может обойтись без мимолетного. Случайные женщины, точно рой бабочек, не дают ему роздыху. И от этого рождаются эротические стихи:

Быть с девой – быть во власти ночи,
Кататься на морских волнах.

…Именно здесь он по-другому смотрит на Россию и потом признается матери: «Несчастную мою нищую Россию, с ее смехотворным правительством, с ребяческой интеллигенцией, я презирал бы глубоко, если бы не был русским… Всякий русский художник имеет право хоть на несколько лет заткнуть себе уши от всего русского и увидать свою другую родину – Европу…»

«Единственное место, где я все-таки могу жить, – Россия. Трудно вернуться, и как будто некуда вернуться – на таможне обворуют, в середине России повесят или посадят в тюрьму, оскорбят, цензура не пропустит того, что я написал».

Назад он едет через Бад-Наугейм, и синие глаза Ксении Садовской вновь встают перед ним, просыпаются нежные трогательные воспоминания. Он мучительно, словно заправский психоаналитик, анализирует причины и следствия своих непростых отношений с женщинами. И, кажется, доходит до сути: «Первой влюбленности, если не ошибаюсь, предшествовало сладкое отношение к половому акту (нельзя соединяться с слишком красивой женщиной, нужно выбирать для этого только дурных собой)».

Ах, если бы Люба в самом начале их семейной жизни знала об этом, если бы не замутил он ей голову всякой мистической чепухой, кто знает, возможно их жизнь сложилась совсем по-

иному и сейчас они были бы по-настоящему близки. Но Люба смотрит на него уже не как на мужчину. Что-то материнское мелькает в ее взгляде, она ухаживает за ним, следит за его здоровьем, но там… вдали от дома, у нее есть другой, для которого она простая земная женщина. И оттого, что Блок знает это наверняка, ему становится до одури тошно.

Глава 11
Возмездие

В Италии Блок и Любовь Дмитриевна необычайно сблизились. И теперь уже сам Блок хочет отправиться с ней в Шахматово, чтобы там, вдали от суеты и многолюдия на лоне природы побыть с Единственной. Но, как обычно бывает, ожидание праздника, оказалось куда приятней самого праздника. Пока он мечтал об этой поездке, рисовал в своем воображении, все получалось великолепно. Но стоило им двоим приехать в Шахматово, как тут же все пошло вкривь и вкось. Блока начало все необычайно раздражать. И Люба, и их уединение, и невозможность поговорить с кем-нибудь о вещах, волнующих его. Он стал впадать в мрачную меланхолию, нервы расшатались до предела, и периодические приступы ярости, когда аккуратный и педантичный Блок в сердцах начинал громить в доме мебель, а Люба старалась укрыться где-нибудь подальше и как можно дольше не попадаться ему на глаза, повторялись все чаще и чаще.

Здоровье Александры Андреевны ухудшается. Приступы эпилепсии повторяются с пугающей частотой, характер становится все более раздражительным и мрачно подозрительным. Жить с ней под одной крышей все труднее и труднее. И можно только посочувствовать Любови Дмитриевне, жившей в те дни с двумя душевнобольными людьми. Неудивительно, что она желала только одного – как можно скорее уехать на гастроли.

Блок это прекрасно понимал. Он видел, что невыносимость их жизни, точно ржавчина, разъедает то прекрасное, что им удалось воссоздать в Италии. А ведь он хотел, так хотел побыть в деревенской тиши с самыми дорогими и близкими… Почему все у него получается с точностью до наоборот? Он не знает, как ответить на этот вопрос. Любовь Дмитриевна после очередного скандала собирается в Петербург. Блок решает ехать с ней.

Но и там ему неуютно. Ничего, в сущности, не изменилось. Более того, распаленное воображение, расшатанные до предела нервы играют с ним злую шутку. Везде видится только уродство. В лицах прохожих, в зданиях, в прежде некогда любимых улицах. И от этого он делается сам не свой.

Однако все это проявления внутренние. А внешне у Блока все складывалось очень даже благополучно. Цикл «Итальянские стихи» встречен шумным успехом, его статьи печатают не только передовые журналы, но и самые крупные газеты. Но поэт не

радуется этому. Напротив, Блок, с мазохистким усердием «разогревает» единственную неудачу того времени – задержку постановки «Песни Судьбы». Он с отчаянием пишет в записных книжках: «Я уже третью неделю сижу безвылазно дома, и часто это страшно угнетает меня. Единственное „утешение“ – всеобщий ужас, который подступает везде, куда ни взглянешь. Все люди, живущие в России, ведут ее и себя к погибели. Теперь окончательно водворится прочный порядок, заключающийся в том, что руки и ноги жителей России связаны крепко – у каждого в отдельности и у всех вместе. Каждое активное движение… ведет лишь к тому, чтобы причинить боль соседу, связанному точно так же, как и я. Таковы условия общественной, государственной и личной жизни».

В это же время модное веяние «жить втроем» снова замаячило в семейной жизни Блоков. Казалось бы, они столько раз уже это проходили… Любовь Дмитриевна и Андрей Белый, Александр Блок и Наталья Волохова. Но теперь совершенно иной случай. В Блока влюбилась жена его друга, талантливого поэта Сергея Городецкого. Женщина настолько увлеклась холодной таинственностью, неприступностью и отстраненностью поэта, что сама призналась мужу в этой испепеляющей ее душу страсти.

Поначалу Блоку льстило чувство, которое испытывала к нему эта женщина. Льстило потому, что прежде она его недолюбливала, считая слишком манерным и неестественным. Но постепенно красота Александра Александровича, его образованность, английский юмор сделали свое дело. И страсть, которой они не смогли противиться оба, привела отношения всех троих к логическому завершению. В ответ на предательство друга Городецкий, не ожидавший от жены и от Блока такого пассажа, отказался напечатать отзыв на «Песни Судьбы» Блока. Но обставил свой отказ достаточно интеллигентно, дескать, не захотел критиковать публично это слабое, с его точки зрения, произведение, а предпочел высказать свое мнение в личной беседе. И тогда уже он слова не выбирал, а говорил, что Бог на душу положит. Блок в долгу не остался и тоже довольно нелицеприятно высказался в «Речи» о сборнике С. Городецкого «Русь».

К тому времени чувства жены Городецкого уже несколько остыли. Женщина довольно бурно отреагировала на поступок Блока, написав ему гневное письмо, которое заканчивалось следующими словами: «Горько и противно, что и „друзья“ не выше тех евреев-дельцов, что держат литературные лавочки».

Итак, отношения, перешедшие в разряд обычных разборок из

цикла «ты меня не любишь», стали тяготить Блока и лишь усугубляли его депрессию. От писем в блоковско-цветаевском стиле, с бесконечными выяснениями отношений в лучших традициях больного Серебряного века, он и попытался отстраниться. Городецкий же в итоге прореагировал своеобразно на эту ситуацию: у него не возникли «вопросы» к жене или другу, он не стал ревновать (и понятно, интеллигентный человек), его волновало лишь одно: сможет ли он видеть Блока столь же систематически, как и прежде.

Александр Александрович его успокоил – все останется как прежде. Забыты были даже их ссоры на литературной почве. Блок, который терпеть не мог резких высказываний, жестов и скандальных ситуаций, облегченно вздохнул, когда всем стало ясно, что их любовный треугольник «приказал долго жить» и теперь можно, как и раньше, мило раскланиваться при редких встречах.

Вообще-то к чести Блока нужно отметить, что при всех его «всемирных запоях» страсти он был не настолько эгоистом в «любви», как многие его собратья по перу. Например, Б. Пастернак в отношениях с женщинами видел, чувствовал и любил прежде всего себя. Показателен следующий эпизод: кумир левой интеллигенции влюбился в жену Нейгауза и настолько был занят собой, был сверхбесчувственен, что решил объясниться с ней в тот момент, когда Зинаида Николаевна стояла плачущая у колодца, где по предположениям мог утонуть ее пропавший сын.

В годы его наибольшего душевного разлада он до самозабвения занимался тем, что анализировал свою чувственность, которой был до краев переполнен. Он понимал, что не в силах ей сопротивляться ни ранее, ни сейчас, ни потом. И действительно, Блок на протяжении всей своей жизни действовал по одной и той же схеме: увидел красавицу в трамвае – голова заболела, встретил премилую брюнетку – жить захотелось, а если между ними пробежала искра, то жди запредельную страсть. Правда, есть небольшое отступление. В Блоке мирно существовали два человека. Один сгорал дотла, а другой спокойно, с холодной отстраненностью и самодовольством наблюдал за развитием событий. Блок поступал, как женщина, демонстрирующая себя и наперед знающая результат: «пробежало то самое, чего я ждал и что я часто вызываю у женщин: воспоминание, бремя томлений. Приближение страсти, связанность (обручальное кольцо). Она очень устала от этого душевного движения. Я распахнул перед ней дверь, и она побежала в серую ночь».

В итоге поэт разродился тирадой в духе Анатоля Курагина: «У

нее очень много видевшие руки; она показала и ладонь, но я, впитывая форму и цвет, не успел прочесть этой страницы. Ее продолговатые ногти холены без маникюра. Загар, смуглота, желающие руки. В бровях, надломленных, – невозможность». Все они: актрисы, цыганки, акробатки, проститутки и другие, – по-разному, но легко возбуждали – «возрождали» чувственного А. Блока, ведь ему так мало было нужно: колющие кольца на руке, молодое, летающее тело, качающийся стан, смеющиеся зубы и т. п.

Показательно, что вопрос о греховности чувственности им не обсуждается, она для поэта безгреховна: «Радостно быть собственником в страсти – и невинно». Правда, к такому видению страсти Блок пришел не сразу, переступив через свое юношеское отвращение к половому акту и теорию, которая во многом предопределила трагедию семейной жизни.

Иногда Блок пытается ввести страсть, которая, как правило, греховная, в русло традиционных ценностей, пытается соединить несоединимое. Например, поэт наставляет жену, увлекшуюся в очередной раз: «Не забывай о долге – это единственная музыка. Жизни и страсти без долга нет». Сам же Блок до конца жизни и уверял жену в любви и изменял ей, забывая о долге и не забывая записать в дневник: «Проститутка», «акробатка», «глупая немка», «у польки», «ночью – Дельмас» (целая серия записей 1917–1918 годов о Дельмас) и т. д., и т. п.

А когда через «атрибуты» внешности женщины он может разглядеть ее внутреннюю, духовно-душевную суть, то заносит в «Записную книжку»: «Когдая влюбился в те глаза, в них мерцало материнство – какая-то влажность, покорность непонятная». Именно тогда, когда Блок воспринимал отношения мужчины и женщины с позиций, которые он определял как душевное здоровье, то создавал шедевры типа «Когда вы стоите на моем пути…». В такие минуты духовного здоровья, прозрений Блок прекрасно понимает цену «высокому», которое несовместимо с чувственностью, с греховной страстью.

Здоровое начало ведет Блока и тогда, когда он пишет в «Записную книжку» текст из грамотки жены к мужу конца XVII века, наполненный высокой поэзией, истинной любовью, всем тем, чего практически не было в семейной жизни Блока, что он изначально разрушил в отношениях с Менделеевой, обуреваемый ложными идеями и идеалами: «Послала я к тебе, друг мой, связочку, изволь носить на здоровье и связывать головушку, а я тое связочку целый день носила, и к тебе, друг мой, послала: изволь носить на здоровье. А я, ей-ей, в добром здоровье. А которые у тебя, друг мой, есть в Азове кафтаны старые

изношенные и ты, друг мой, пришли ко мне, отпоров от воротка, лоскуточик камочки, а я тое камочку стану до тебя, друг мой, стану носить – будто с тобою видитца…»

В эти же дни у Блока укрепляется мысль о неотвратимости, а главное – необходимости кардинальных перемен, решительного переустройства всей жизни. Настоящее представляется в исключительно мрачном свете – оно «лживое», «грязное», «пошлое», над ним должна, по логике вещей, разразиться «великая гроза». Предчувствием надвигающейся катастрофы пронизан цикл «Ямбы», создававшийся в течение ряда лет, с 1907 по 1914 год.

Прервало цепь этих горестных рассуждений не менее горестное известие. Отец Блока умирал, и теперь ему срочно нужно было ехать в Варшаву. Конечно, отец не воспитывал сына и в Петербург наезжал лишь на каникулы или, как говорили тогда, «вакации». Это был человек тяжелого нрава, о чем сохранилось множество свидетельств – и прямых, и косвенных – обширной родни поэта со стороны матери, но объективность этих свидетельств может быть поставлена под сомнение, поэтому лучше привести выдержки из малодоступных воспоминаний людей посторонних. Вот что пишет о профессоре Блоке его коллега Евгений Александрович Бобров, бок о бок проработавший с отцом поэта целых шесть лет. «Все на нем было вытерто, засалено, перештопано. Проистекало это не из материальной нужды, а из чисто плюшкинской жадности и скупости… Он даже экономил на освещении квартиры. По вечерам он выходил на общую площадку лестницы, где горел даровой хозяйский газовый рожок, читал, стоя, при этом свете или шел куда-нибудь в дешевую извозчичью харчевню, брал за пятак стакан чаю и сидел над ним весь вечер в даровом тепле и при даровом свете».

Боброву вторит Екатерина Сергеевна Герцог, с отцом которой нелюдимый, замкнутый, слегка заикающийся профессор Блок дружил – кажется, с ним единственным. «Прислуги у него не было; никто не топил печей, никто не убирал комнаты. На вещах, на книгах, иногда прикрытых газетами, лежали толстые слои пыли… Чтобы впустить немного тепла, он открывал дверь на лестницу или уходил куда-нибудь отогреваться… Белье на нем всегда было несвежее, так что воротнички были уже совсем серые, обтрепанные по краям. Запонки на рубашке всегда отсутствовали, и надето бывало на нем по две и даже по три рубашки. Вероятно, – предполагает мемуаристка, – он надевал более чистую на более грязную или зимой ему было холодно».

Какая противоположность сыну, всегда безупречно одетому, подобранному, совершенно спокойно тратившему деньги – когда

они были! Деньги, правда, были не всегда, и, случалось, Блок обращался за помощью к отцу, но получал если не отказ, то строго дозированные суммы. Зато после смерти профессора в его захламленной нищенской квартирке было обнаружено свыше восьмидесяти тысяч рублей – сумма по тем временам гигантская. Экономил не только на сыне, не только на жене (на обеих женах – вторая, как и первая, тоже сбежала от него), но и на себе – на себе даже в первую очередь. Кончилось все трагически. «По свидетельству врачей, – пишет Бобров, – недостаточным питанием он сам вогнал себя в неизлечимую чахотку и уготовил себе преждевременную смерть на почве истощения».

Надо ли говорить, каким было отношение Блока к отцу? Тут сказывалось не только органическое неприятие образа жизни отца, но и обида за мать, страдавшей во время недолгой совместной жизни. И если бы только от скупости мужа («держал жену впроголодь», – пишет ее родная сестра М. Бекетова), но и – нередко – от его кулаков.

Тем не менее Блок едет к умирающему отцу. Эта поездка хоть и вырвала поэта из мучительных уз, постепенно превращающихся в тяжелейшие путы, на самом деле оказалась изнурительной и изматывающей. За время пути у него было много времени подумать о своих непростых отношениях с отцом. Ну а если быть совершенно точным и перестать лукавить перед самим собой, то в последние годы о полном отсутствии таковых. Тяготило его и то, что пришлось ехать одному, а он уже отвык от этого. Без Любови Дмитриевны обходиться все хуже и хуже, а с ней тоже не лучше. Вот и получалась дилемма, которой нет решения. Он смотрел в окно, чтобы хоть как-то отвлечься от жуткой головной боли, от неярких образов, без спросу вырывающихся из сознания и заполнявших все окружающее пространство – злобных, ухмыляющихся противной, издевательской усмешкой. Становилось так тошно, что хотелось разнести в дребезги этот чертов поезд. И он себя сдерживал невероятными усилиями воли, зажав свои желания в железные тиски. А чтобы совсем не сойти с ума от жутких видений, Блок прибегает к испытанному средству, он берет в руки карандаш и пишет: «Длинный коридор вагона – в конце его горит свеча. К утру она догорит, и душа засуетится. А теперь – я только не могу заснуть, так же как в своей постели в Петербурге. Передо мной – холодный мрак могилы. Отец лежит в долине роз и тяжко бредит. А я в длинном и жарком коридоре вагона, и искры освещают снег. Старик в подштанниках меня не тревожит. Ничего не надо. Все, что я мог, у убогой жизни взял, взять больше у неба – не хватило сил. Заброшен я на Варшавскую дорогу так же, как в Петербург. Только ее со мной нет – чтобы по-

детски скучать, качать головкой, спать, шалить, смеяться».

Действительно, была бы с ним Люба, все вышло бы иначе, но она уехала на гастроли и даже не пыталась скрыть чувство радости и облегчения от их расставания. Но вот и Варшава. Блок облегченно вздохнул, увидев вокзал. Наконец-то его испытаниям пришел конец. Здесь его ждало множество дел и то, чего Блок боялся куда больше самих похорон – новое знакомство с отцом. До сих пор в представлении Сашуры жил деспот и тиран, издевающийся над матерью, доведший юную Сашеньку до состояния патологического страха. Теперь пришло время ответа на вопрос, волновавший Блока на протяжении последних лет: кем же был его отец в действительности? Что за человек? И от него ли в жилах поэта течет дурная кровь, толкающая его порой на страшные поступки?

Могло ли что-нибудь изменить это устоявшееся с годами отношение, и если да, что именно? Блок пишет почти немедля. «Смерть, как всегда, многое объяснила, многое улучшила и многое лишнее вычеркнула», – написал он матери из Варшавы. «Я застал отца уже мертвым, – написал он жене сразу после приезда в Варшаву. – Он мне очень нравится, лицо спокойное, худое и бледное». «Отец в гробу был сух и прям. Был нос прямой – а стал орлиный». Орлиный! Это уже безусловное любование, и это, конечно, взгляд не сына, не близкого человека, а – художника, поэта. Взгляд человека, у которого достало духу написать: «Люблю я только искусство, детей и смерть». Эти слова не предназначались для печати, он адресовал их матери, но тем искреннее, тем исповедальнее они звучат. Тем неслучайнее… Неслучайность их становится особенно понятной, если вспомнить, где и когда они писались.

Неужто же сына не тронула смерть отца, пусть даже человека, духовно не близкого ему? «Странный человек мой отец, но я на него мало похож», – признался он однажды. И в «Возмездии», в поэме, замысел которой еще только рождается у Блока, он напишет более откровенно: «Он по ступенькам вверх бежит без жалости и без тревоги». Мало кто способен на подобную откровенность – в данном случае уже не в личном письме, а публично, на всю Россию, которая жадно ловила каждую блоковскую строку. Просто он, по самой сути своей, был предельно правдивым человеком, органически не мог не то что соврать, но даже ради, допустим, хорошего тона – уклониться от высказывания своего мнения, если таковое у него спрашивали.

И тем более не мог быть неискренним в стихах. Да, кончина отца не вызвала ни жалости, ни тревоги, но это еще не все. Если в «Стихах о Прекрасной Даме» «светлая смерть», которую он

«празднует», – все-таки условна, то в «Возмездии» она совершенно реальна. Тем не менее сын при виде мертвого отца вопрошает удивленно и разочарованно: «Где ж праздник Смерти?» А дальше, когда описываются похороны, звучит «радостный галдеж ворон».

И все-таки «сын любил тогда отца» – в первый, бесстрастно уточняет поэт, и, может быть, в последний раз. Любил и под воздействием этого нового чувства пересматривал свое отношение к родителю. «Для меня выясняется внутреннее обличье отца – во многом совсем по-новому, – писал он матери после похорон. – Все свидетельствует о благородстве и высоте его духа, о каком-то необыкновенном одиночестве и исключительной крупности натуры». Сын даже попытался снять с окоченелой руки и взять на память отцовское кольцо, но «с непокорных пальцев кольцо скользнуло в жесткий гроб».

Можно сказать, что смерть помогла ему обрести отца; ничего удивительного: по Блоку, смерть – это всегда не только и даже не столько потеря, сколько обретение. Он благодарен ей за это – благодарен настолько, что готов целовать ее след. «Смерть, целую твой след…» Этих слов, правда, нет в окончательном варианте стихотворения («Дух пряный марта был в лунном круге»), но в черновике они присутствуют. Написаны стихи через три месяца после варшавских похорон, в часовне на Крестовском острове; Блок очень редко обозначает место, где создано то или иное произведение, но в данном случае счел необходимым это сделать…

Варшава подарила ему не только отца (одновременно забрав его, и в этом не столько парадокс, сколько закономерность), она еще подарила ему сестру. «Запомним оба, – писал он, обращаясь к ней, – что встретиться судил нам Бог в час искупительный – у гроба».

Это была девочка от второго брака, уже давно распавшегося. Звали ее Ангелиной. К тому времени она прожила на свете целых семнадцать лет, но не подозревала о существовании своего единокровного брата, как, впрочем, и он о ней. Встретились и впрямь «у гроба», на похоронах – встретились, познакомились и явно пришлись друг другу по душе. «Моя сестра и ее мать настолько хороши, что я даже чувствую близость к ним обеим, – писал Блок жене. – Ангелина интересна и оригинальна, и очень чистая».

И все же… В Варшаве Блок смог увидеть отца в ином свете. Причем настолько, что не нашел ничего лучшего, как предаться единственному доступному способу – утопить свое позднее раскаяние в вине. Но при этом не забывая с немецкой точностью и методичностью записывать все похождения в дневнике. Итак, 6

января – «Напился»; 8 января – «Пьянство»; 9 января – «Не пошел к обедне на кладбище из-за пьянства»; 10 января – «У польки»; 12 января – «Пил»; 14 января – «Шампанское. „Аквариум“».

А поводом к излишним возлияниям послужили встречи со студентами отца. Именно в университете Блок узнал, что ученики буквально боготворили своего профессора, они создали целый культ и поклонялись ему. Поэт был невероятно удивлен, после рассказов матери и деда об отце, тем, с каким восхищением студенты рассказывали ему о покойном. Благодаря стараниям учеников вышел в свет сборник последних произведений отца, а вслед ему в типографии готовился второй том… Блока невероятно тронула такая преданность и любовь молодых людей.

В эти довольно напряженные дни Ангелина стала для измученного внутренними терзаниями Блока настоящим лучиком, согревающим его душу. Он посвятил ей очень трогательные строки:

Лишь ты напоминала мне
Своей волнующей тревогой
О том, что мир – жилище Бога,
О холоде и об огне.

Но все переживания поэта померкли перед известием, что отец оставил ему с сестрой на двоих восемьдесят тысяч рублей. Сумма весьма и весьма немалая по тем временам. Конечно, поэт никогда не бедствовал… В 1907 году, когда умер его тесть, знаменитый ученый Дмитрий Менделеев, Блоки получили весьма солидный капитал, пусть и значительно меньший, чем сейчас, но все же сумма была довольно приличная. И Блок, с трудом выносивший общество тестя при его жизни, смог с помощью денег покойного поправить свои материальные дела и даже немного привести в порядок Шахматово. Но… таких средств, как оставил ему отец, поэт не получал никогда. После похорон он сидел в кабинете отца, прикрыв глаза. Мысли беспорядочно блуждали… Да, теперь, вполне возможно, начнется совсем другая жизнь… Можно жить на широкую ногу, перестав считать каждую копейку, можно отправиться в путешествие, и для начала поехать в старушку Европу, исколесить вдоль и поперек Францию, добрую Германию, а потом махнуть в Англию. По губам Блока пробежала мечтательная улыбка, он словно наяву увидел все эти страны, которые давно мечтал посетить, чтобы впитать в себя их особую, мистическую ауру. Потом перед ним на какую-то долю секунды возникло лицо Любы, он подумал, что сейчас она, обожавшая антикварные лавки, может себе позволить купить любую

понравившуюся мебель.

А еще необходимо перестроить шахматовский дом, прикупить скотину да сменить управляющего. Ведь имение это – его святыня, оно не должно исчезнуть, и нужно сделать все, чтобы здесь не воцарилось запустение. Блок упрямо мотнул головой. Он непременно приведет все в порядок, чтобы мать и тетка по-прежнему смогли проводить время за городом.

И тут по лицу Блока пробежала мрачная тень. Мать… Ее состояние становилось все хуже и хуже, эпилептические припадки учащались с каждым годом. Пребывание в лечебнице дало улучшение, но это был временный эффект. Она продолжала относиться ко всем, особенно к Любови Дмитриевне, с болезненным подозрением. Но самое ужасное то, что Александра Андреевна никак не может смириться с любовью Блока к жене, с его все растущей жизненной потребностью в ней… И при этом, а может быть именно поэтому, чтобы разорвать необходимость сына в той женщине, которая рядом с ним, она поощряла его похождения с другими. Она стала для Блока наперсницей в его «любовных» делах.

Нужно сказать, что Блок испытывал какое-то странное пристрастие к вокзалам и дешевым забегаловкам. А еще… К воде. Часто переезжая с квартиры на квартиру, он всегда жил поблизости к реке, или каналам, подальше от центра и богатых кварталов. Вода, залив необыкновенно притягивали его. Как и Достоевскому, ему нравились мрачные улочки, подозрительные закоулки, где поздними вечерами и ночами, он блуждал среди портовых и заводских рабочих из предместий, заходил в убогие пивные, где подавали только водку, пиво или чай. Позже он стал завсегдатаем ресторанов на окраинах Петербурга, где ночи напролет гуляли цыгане.

Вокзалы, где этот человек «без кожи», также слонялся иногда целыми днями, каждый раз вздрагивая от отъезжающего поезда, частенько садился в эти самые поезда и ехал куда-то. Например, в Парголово, Шувалово, на озеро. В этих прелестных местах петербуржцы обожали отдыхать летом, зимой же здесь расстилались роскошные поля снега, и именно тогда их и любил Блок. Ох, как же ему хотелось зарыться лицом в это белоснежное чудо и забыть обо всем на свете. А еще… Кататься на лыжах в полнейшем одиночестве, пытаясь привести свои мысли в порядок, и отрешиться от всех забот, которые тяжким грузом наваливались на него в Питере. Там, в этой оглушительной тишине, он находил успокоение, и нечто похожее на гармонию воцарялось в его душе.

Поездка в Варшаву подходила к своему логическому завершению, он возвращался в Петербург, сестра Ангелина ехала

вместе с ним. Но еще до отъезда у него уже созрел замысел будущей гениальной поэмы «Возмездие», которая так и осталась в итоге незаконченной, но и того, что успел написать Блок, достаточно, чтобы понять, – перед нами истинный шедевр.

В предисловии к «Возмездию», написанном в 1919 году, так формулируется идея поэмы: «<…> род, испытавший на себе возмездие истории, среды, эпохи, начинает, в свою очередь, творить возмездие». Эта концепция взаимодействия родовой личности и истории прямо противоположна той, которая была популярна у писателей левой ориентации в начале XX века и получила свое воплощение, например, в романах М. Горького «Дело Артамоновых» и Т. Манна «Будденброки». В данных произведениях представители третьего поколения родов – это люди, не способные и не желающие продолжать «дело» рода, влиять на окружающих, время. Они – бездеятельные выродки. У Блока, как явствует из замысла поэмы, внук «деда-демона» – деятельный выродок, революционер.

Может быть, потому и эпиграф к поэме весьма и весьма своеобразен, ведь не случайно Блок взял строку из Ибсена: «Юность – это возмездие». Да и вся поэма – это признание любви Блока к отцу, который при жизни был ему совершенно чужим, но зато после его смерти сына неожиданно захлестнула волна позднего раскаяния и любви. Вот его исповедально-откровенные строки:

Да. Я любил отца в те дни
Впервой и, может быть, в последний…

Смерть как источник краткосрочной сыновней любви – это оригинально, а с точки зрения традиционной морали – ущербно. Ущербность своего чувства Блок осознавал и, видимо, внутренне переживал из-за этого. Оттого и решил сублимировать чувства и «вылить» все на бумагу. Ситуация для многих знакомая, с той лишь разницей, что Блок был гением, и острота боли сподвигла его на создание шедевра. Тем более что именно в 1910 году его талант достиг наибольшего расцвета. И в этой поэме мы видим, насколько русская поэзия в творчестве Блока смогла подняться на такую высоту пророческого величия, что превзойти ее никто уже не смог.

Но не только смерть отца сыграла главенствующую роль в написании первых глав, не меньшее участие приняли в этом события, произошедшие в 1910 и 1911 годах. Что же это были за годы?

Итак… Начало 1910 года казалось беспросветно черным и

ознаменовалось уходом из жизни людей, по праву считавшимися яркими звездами российской культуры. В этом году умерли Комиссаржевская, Врубель и Толстой. Что это означало для России?

С уходом Комиссаржевской погасла трогательная лирическая нота на отечественной сцене, и многих охватило горестное молчание, ушло дарование, по силе которого не будет еще долго не то что превосходящего, но даже равного.

Врубель… Ушла безграничная преданность искусству, исступленность гения, вплоть до помешательства. Огромный мир художника, опровергавшего любые каноны, искавшего только ему подвластный путь.

Толстой… Умерла человеческая нежность, мудрость и всепрощение.

Кроме этого, 1910 год – это смерть символизма. Гумилев, которого многие считали антиподом Блока, основал новое течение – акмеизм, тогда же и подал о себе весть футуризм. И в довершение к цепи этих событий в Киеве был убит Столыпин, и… Словно прочертил черту, после которой уже ничто не могло быть как прежде. Вся реальная власть в стране сосредоточилась в руках департамента полиции.

Казалось, что весь мир, где уютно чувствовали себя Белый и Брюсов, летел в тартарары. А Блок написал в записных книжках: «Все эти факты, казалось бы различные, для меня имеют один музыкальный смысл. Я думаю, что простейшим выражением ритма того времени, когда мир, готовящийся к неслыханным событиям, так усиленно и планомерно развивал свои физические, политические и военные мускулы, был ямб. Вероятно, потому и повлекло меня, издавна гонимого по миру бичами этого ямба, отдаться его упругой волне на более продолжительное время. Тогда мне пришлось начать постройку большой поэмы под названием „Возмездие“».

«Поэма должна состоять из пролога, трех больших глав и эпилога. Каждая глава обрамлена описанием событий мирового значения: они составляют ее фон».

В это же время Блок проводит почти все время в одиночестве в пустой квартире на Галерной улице. Люба, несмотря на все уверения, снова ушла, оставив его наедине с призраками, проносящимися перед ним даже днем.

Антипатия к петербургским разного рода говорильням по временам достигала у Блока болезненной остроты. Тогда он думал о длительной жизни в Шахматове. Весной 1910 года, получив часть наследства, Блок решил перестроить шахматовский

дом, чтобы жить в нем и зимой. Квартира на Галерной была сдана. Но в перестроенном шахматовском доме Блок с вернувшейся женой смогли жить лишь до конца осени. Они были городскими людьми, хотя поэт и не хотел в этом сознаться, и без пестрой, говорливой, запутанной, смешной и страшной городской жизни обойтись не могли. Ритмы этой напряженной жизни всегда были близки нервным ритмам блоковской мысли.

Блок снова вернулся на Петроградскую сторону – 5 ноября 1910 года он с женой поселились на Малой Монетной. Временами семейные отношения становились невыносимыми, и тогда супруги разговаривали о разъезде.

Весь 1910 и 1911 год Блок работал над поэмой «Возмездие». Он задумал рассказать о жизни представителей одного рода – отца и сына – на протяжении последних тридцати лет русской истории. В поэму Блок ввел очень много биографических эпизодов, однако она не стала зеркалом семейных отношений поэта.

Место действия первой и отчасти второй глав «Возмездия» – Петербург. Он изображен Блоком в разнообразных красках, деталях. Читатель видит Петербург в солнечный осенний день и в метель, в серое мартовское утро и в белую ночь. Разные районы города: Московская застава и каменный лабиринт «серединных» улиц. Мрачной эмблемой Петербурга кажется в поэме Петропавловская крепость – его твердыня, превратившаяся затем в тюрьму. Конечно же, не забыты Нева и ее набережные. Столь же разнообразны и городские типы: интеллигенты, офицеры, солдаты, революционеры, шпионы.

А все значимые события развиваются в 70-е годы девятнадцатого века, на фоне русско-турецкой войны и народовольческого движения, в просвещенной либеральной семье. Именно здесь и появляется некий «демон», которому Блок явно придал черты отца. Он индивидуалист, чем-то очень похож на Байрона, с какими-то нездешними порывами и стремлениями, притупленными основными симптомами болезни своего времени.

Вторая глава, действие которой развивается в конце девятнадцатого и начале двадцатого, так и не написанная, за исключением вступления, должна была быть посвящена сыну этого демона, наследнику его болезненных порывов и болезненных падений – бесчувственному сыну века. Но это лишь одно из звеньев цепи, ведь и от сына, по теории Блока, тоже ничего не останется, разве что искра божественного огня, заброшенного в мир, кроме семени, кинутого им в страстную и грешную ночь в лоно какой-то тихой и женственной дочери чужого народа.

В третьей главе Блок описывает, как отец закончил свою жизнь. Что же стало с демоном, в какую бездну пал этот некогда блестящий человек? Действие поэмы переносится из Петербурга в Варшаву. И там над свежей могилой отца заканчивается развитие и жизненный путь сына, который уступает место собственному отпрыску, третьему звену все того же высоко взлетающего и низко падающего рода.

В эпилоге должен был быть изображен младенец, которого держит и баюкает на коленях простая мать, затерянная где-то в широких польских клеверных полях, никому не ведомая и сама ни о чем не ведающая. Она баюкает и кормит сына, а он уже начинает повторять за ней по складам: «И за тебя, моя свобода, взойду на черный эшафот».

Вот и замкнулся круг человеческой жизни, тот круг, который сам наконец начнет топорщиться, давить на окружающую среду… Вся поэма по замыслу Блока должна была сопровождаться лейтмотивом «возмездия».

Не случайно поэма написана ямбом. Поскольку именно он больше всего напоминает пушкинский стих. Девятнадцатый век, о котором Блок говорит в первой главе, – это эпоха Бекетова деда, спокойная, простая, с ее милым образом мысли и не менее милым образом чувств. Но очень быстро начинается распад – вокруг человека и в нем самом: исподволь, незаметно, пока еще неощутимо, но уже явно складываются его первые признаки. Во внешней жизни все меняется, как в умах, охваченными лихорадочными бесплодными построениями.

И вот грядет двадцатый век – век комет, мессинского землетрясения, вооружений и оскуднения веры.

И отвращения от жизни,
И к ней безумная любовь,
И страсть и ненависть к отчизне…
И черная, земная кровь
Сулит нам раздувая вены,
Все разрушая рубежи,
Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи…

Не правда ли, пророческие строки? Особенно если учесть, что они были написаны в 1910 году? Но Блок тем и славился, что кожей ощущал катастрофы. Не случайно города, о которых он писал, как о проклятых, рано или поздно терпели бедствия и разрушения. И в первую очередь это касалось обожаемого Петербурга. Блок панически боялся, что этот северный красавец

исчезнет с лица земли. В поэме главный герой так и обращается к городу, которому однажды суждено будет исчезнуть:

О, город мой неуловимый,
Зачем над бездной ты возник?
Провидел ты всю даль, как ангел
На шпиле крепостном…

Довольно явственно слышатся отзвуки пушкинского «Медного всадника». А с ними в унисон звучат голоса Гоголя и Достоевского. Как и они, Блок стал певцом Петербурга, его тайны и необычайной судьбы.

Глава 12
Смутное время

Блок называл последующие годы после смерти отца мрачными, серыми и нескончаемыми. И это неудивительно – наделенный сверхчувствительной нервной организацией, он чувствовал неотвратимость приближающихся перемен. Кроме того, его весьма серьезно озадачивает пошатнувшееся здоровье. Настолько, что он почти перестает пить. Все нарастающая неврастения очень тревожит врачей. А еще… нежелание жить. Он постоянно думает о смерти, практически не выходит из дома, страдая от жуткого одиночества. Любовь Дмитриевна снова оставила его, ее влечет театр, и как догадывается Блок, один из очередных любовников. В записной книжке появляются горькие фразы, вырвавшиеся из глубины души: «Люба довела маму до болезни. Люба отогнала от меня людей. Люба создала всю ту невыносимую сложность отношений, какая сейчас есть. Люба выталкивает от себя и от меня всех лучших людей, в том числе – мою мать, то есть мою совесть. Люба испортила мне столько лет жизни, измучила меня и довела до того, что я теперь. Люба, как только она коснется жизни, становится таким же дурным человеком, как ее отец, мать и братья. Хуже чем дурным человеком – страшным, мрачным, низким, устраивающим каверзы существом, как весь ее Поповский род. Люба на земле – страшное, посланное для того, чтобы мучить и уничтожать ценности земные. Но – 1898–1902 годы сделали то, что я не могу расстаться с ней и люблю ее».

Не знаю, можно ли полагаться на эти строки. Думается, что они были написаны в минуты самого мрачного настроения. Более того, в своих воспоминаниях Любовь Дмитриевна тоже в долгу не осталась. Прочитав некоторые записи мужа и его родственников, она пришла в негодование. И опубликовала несколько своих неотправленных писем.

«Я живой человек и хочу быть им, хотя бы со всеми недостатками; когда же на меня смотрят как на какую-то отвлеченность, хотя бы и идеальнейшую, мне это невыносимо, оскорбительно, чуждо». Это из письма, которого творец Прекрасной Дамы так и не получил, но которое было написано и благополучно дошло до наших дней.

И еще…

«Вы, кажется, даже любили, – соглашается она, обращаясь к Блоку, и тут же уточняет: – Свою фантазию, свой философский

идеал, а я все ждала, когда же Вы увидите меня, когда поймете, чего мне нужно, чем я готова отвечать Вам от всей души… Но Вы продолжали фантазировать и философствовать… Да, я вижу теперь, насколько мы с Вами чужды друг другу, вижу, что я Вам никогда не прощу то, что Вы со мной делали все это время, – ведь Вы от жизни тянули меня на какие-то высоты, где мне холодно, страшно и… – добавляет она после паузы, обозначенной в письме многоточием, – и скучно».

Но это будет позже. А пока он собирается ехать в Москву, которую хоть и не любит, но которая всякий раз вдыхает в него новый прилив сил. И там он вновь встречается с Андреем Белым. Он рассказывает Блоку, что через «шесть лет страданий» он женился на юной девушке с мечтательными глазами и длинными локонами. Блок от всего сердца поздравляет Белого и надеется, что хотя бы он будет счастлив. Но… Судьба распорядится иначе.

Годы после разрыва отношений ни для одного, ни для другого не прошли зря. Белый, кажется, был вездесущим. С развевающимися волосами, с лицом одновременно красивым и уродливым, с застывшей улыбкой и светлыми, почти бесцветными глазами, он присутствует везде. То он сражается с Брюсовым, то против него. Он в центре всеобщего внимания, но, как с горечью признается, времени на творчество почти не остается. И все же он пишет очень талантливые вещи. Вначале повесть «Серебряный голубь», потом роман «Петербург». И везде слышны отголоски его любви к Любови Дмитриевне, той жизненной драмы, которая развела их с Блоком. Позже он признается Нине Береберовой: «Запомните, у Андрея Белого никогда не было женщины, которая его бы действительно любила. У него не было настоящей подруги».

И все же он встретит тургеневскую Асю – юную барышню с чистым лицом. Она станет его женой, с нею он совершит путешествие по Африке и Скандинавии. Но… во время войны она его покинет. И с этим он не сможет смириться никогда. Это будет позже, намного позже. А пока Блок дарит ему книгу с циклом стихов «На поле Куликовом», и Белый приходит в восторг. Блок – гений. Здесь двух мнений быть не может.

В это же время, пытаясь найти ответы на множество сложных вопросов, которые все резче встают перед интеллигенцией, очень многие начинают увлекаться оккультизмом. Анна Ахматова и Гумилев частенько прибегают к спиритическим сеансам, Георгий Иванов, Цветаева, Андрей Белый становятся вхожи в весьма могущественный мистический орден «Роза и Крест». Тогда же, в сумрачном тринадцатом году, Белый убедил Блока поближе присмотреться к розенкрейцерам. И Александр Александрович

согласился. Его походы в орден упали на благодатную почву. Он стал писать драму, которую так и назвал: «Роза и Крест», и которая сыграла воистину мистическую роль в жизни поэта.

Но вначале несколько слов о самом ордене. Еще в 1905 году Алистер Кроули приезжает в Россию и, воочию увидев и оценив просторы нашей страны, начинает «строительство» здесь одного из самых могущественных тайных орденов Европы. Называет его «Роза и Крест». Почему так? Ответ очень прост. В энциклопедии оккультизма, вышедшей в начале века в России, указывается, что символом розенкрейцеров является Роза и Крест. Крест – символ пути самоотвержения, безграничного альтруизма, неограниченной покорности законам Высшего – является одним из полюсов символа. Роза – второй полюс бинера – обвивает этот крест. Она – символ науки. «Пусть шипы ее колют ученых, но они не перестают наслаждаться ее ароматом».

Деятельность истинного розенкрейцера – это отражение символа Розы и Креста, соединяет в себе самопожертвование и тайное знание и заставляет служить их Высшему идеалу.

Эта «сверхзадача» расшифровывается в третьем символе розенкрейцеров, который помещается у подножия Креста и Розы. Это Пеликан, кормящий своею кровью и плотью птенцов и защищающий их распростертыми крыльями. Пеликан приносит себя в жертву, питая птенцов. Птенцы разного цвета, что символизирует три первые причинности и семь вторичных, имеющих цвета планет. Самопожертвование Пеликана носит божественный, космический характер. Розенкрейцеры должны были не только постигать и воспринимать тайное знание, но и питать его своей энергией, своей духовной субстанцией, помогая преодолению хаоса.

Роза и Крест – бинер, обозначающий противоположность и единство жизни и смерти, духа и материи. Основание самого ордена розенкрейцеров относят к началу XV века и связывают с именем Христиана Розенкрейцера. По легенде он прожил более ста лет, и смерть его окутана завесой таинственности. Это невольно наводит на аналогию с появлением и исчезновением «бессмертных Учителей» Востока. Прах Розенкрейцера, или, вернее, то, что таковым считалось, был захоронен в пещере. На ее стенах были начертаны заветы розенкрейцеров, которым предстояло возродиться через сто лет после исчезновения самого основателя ордена.

Центром распространения розенкрейцерства в XV веке были немецкие земли. Розенкрейцерам приписывалось исключительное могущество, власть над природными силами и людьми, способность воскрешать мертвых и создавать искусственного

человека – гомункулуса. Среди розенкрейцеров были ученые и великие хранители, и предсказатели тайн: Агриппа Нетесгеймский (1486–1535), Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, прозванный Парацельсом (1493–1541), которого называли «императором розенкрейцеров». Он открыл и превзошел законы мироустройства. Из розенкрейцеровской среды выводили фигуру Фауста, а пророческий дар Нострадамуса объясняли тем, что он в совершенстве постиг доктрину розенкрейцеров.

Многие алхимики в поисках философского камня и тайны превращения металлов в золото становились адептами розенкрейцерства. Ходили слухи, что розенкрейцерами открыт эликсир бессмертия и магический камень общения с духами. Многие известные ученые и философы эпохи Возрождения, когда царили не только знание и искусство, но и магия, оккультизм и изотеризм, прибавляли к своему имени таинственные буквы «R. C.», намекая на свою причастность к элите мира. Немало трудов, принадлежавших или приписываемых розенкрейцерам, появилось в XVI–XVII вв. Большую роль в объединении розенкрейцеров сыграл протестантский пастор Андрей (1586–1654), объездивший многие страны Европы. Под эгидой розенкрейцеров была сделана попытка создать единое европейское общество философов.

Современников Шекспира, да и самого создателя «Гамлета», а также таинственную фигуру философа Фрэнсиса Бэкона связывали с розенкрейцерами. Считалось, что «Новая Антлантида» содержала литературное изложение розенкрейцеровских идей, и, как предполагается, это предназначалось для передачи идей масонам. Под непосредственным влиянием розенкрейцеров возник «шотландский обряд» масонства. Так, создателем первой шотландской ложи был оксфордский ученый и розенкрейцер Эшмол. Рациональность как один из важнейших принципов розенкрейцерства привела к его доктрине многих ученых и философов, в частности Декарта, Паскаля, Ньютона. Более того, создание в 1662 г. первой академии наук – Английского Королевского общества – произошло в значительной степени по инициативе розенкрейцеров. История розенкрейцеров в то время очень сложно переплеталась с орденом иллюминатов, иезуитов, мартинистов.

Но, как правило, розенкрейцеры всегда оставались очень малочисленной общиной избранных, члены которой далеко не всегда знали друг друга, но могли «опознать» своих по тайным специальным знакам и паролям. Розенкрейцеры не стремились широко воздействовать на общество, гордясь уделом тайных его Учителей. Однако соприкосновение ордена с областью

общественной и практической жизни, по утверждению розенкрейцеровской легенды, привело к порождению им практических изотеристических обществ, а именно «регулярного» масонства. Однако сами розенкрейцеры решительно отделяли себя от масонов, считая братство вольных каменщиков низшей ступенью посвящения. У розенкрейцеров нет политических целей, в то время как масоны все больше ориентируются на политическое преобразование общества.

«Оккультизм, по всей вероятности, есть и сила и мода завтрашнего дня», – эти слова Н. Бердяева из его труда «Смысл творчества» (1916) очень точно характеризуют духовную атмосферу России того времени. Под их влияние попали весьма известные люди. В их числе А. Белый, М. Волошин, А. Луначарский, С. Эйзенштейн, Б. Пастернак, Б. Зубакин, А. Цветаева, академик-геолог А. Павлов, Я. Монисов, А. Карелин, Л. Карсавин и другие. Не тайна, что намного позже советские вожди также примкнули к этому ордену. Так, Бокий и Блюмкин входили в число посвященных и с помощью розенкрейцеров пытались постичь тайны Кабалы.

Но Блок находился под очарованием розенкрейцеров не более года. И хотя его по-прежнему влекла к себе мистика и он везде искал «знаки», все же… Столь явно выраженная и конкретизированная мистика не смогла долго удерживать его внимание. Единственное влияние, которое оказал на него орден, – это написание любимейшего детища поэта – пьесы «Роза и Крест». Блок настолько дорожил этой драмой, что хотел ставить ее исключительно у Станиславского. «Роза и Крест» – драма из средневековой жизни тринадцатого века. Главный герой пьесы – рыцарь долга и любви, который, по Блоку, «неумолимо честен, трудно честен», пытался соединить Розу красоты с Крестом страданий. Он влюблен в семнадцатилетнюю красавицу Изору. Но юная графиня предпочла старому мужу смазливого молодого пажа, а не благородного рыцаря, сторожа замка, по прозванию Рыцарь-Несчастие – образец самопожертвования. Смертельно раненный в боевой схватке, Бертран превозмогает боль ранения и умирает у балкона любимой женщины, оберегая ее честь во время свидания Изоры с красавчиком Алисканом, хотя и посвященного накануне в рыцари, но недостойного этого звания самовлюбленным Нарциссом. Свое идейное и лирическое кредо А. Блок вложил в уста певца-скитальца Гаэтана:

Сдайся мечте невозможной,
Сбудется, что суждено.
Сердцу закон непреложный —

Радость-Страданье одно!

Путь твой грядущий – скитанье,
Шумный поет океан.
Радость, о, Радость-Страданье, —
Боль неизведанных ран!

Пьесой заинтересовались многие режиссеры. Но Блок был непреклонен. Только Станиславский. Поэтому он отказывает в постановке драмы и Мейерхольду, и молодому Е. Вахтангову. И ждет встречи со Станиславским, который сам, по замыслу поэта, играл бы Бертрана: «Если коснется пьесы его гений, буду спокоен за все остальное».

И вот 27 апреля 1913 года состоялась их встреча на квартире у Блока. Продолжалась она девять часов. Блок разочарован. После ухода Станиславского он пишет Любови Дмитриевне: «Оттого ли, что в нем нет моего и мое ему не нужно, – только он ничего не понял в моей пьесе, совсем не воспринял ее, ничего не почувствовал». Но Станиславский все же принял драму к постановке. Забегая вперед – с марта 1916 по декабрь 1918 года в Художественном театре было проведено около двухсот репетиций, «Роза и Крест» назначалась к премьере и вновь откладывалась. Все кончилось ничем. Однако… В уста Гаэтана, самого любимого персонажа, Блок вкладывает фразу: «Всюду поют мои песни, песни о жизни моей». Точно пророчество на будущее. А еще дает ему очень даже не случайно имя – Гаэтан. Назвав в честь католического святого, день которого и поныне отмечается 7 августа. Это как раз тот день, когда умер Александр Блок.

В 1913 году Блоку исполнилось 33 года – «Христов возраст», невольно кажущийся рубежным для подведения итогов. Возраст осмысления и переосмысления прожитого. А в его жизни по-прежнему хаос. Он устал от одиночества и ждет Любу. Но чаще всего ждет напрасно. «В моей жизни все время происходит что-то бесконечно тяжелое. Люба опять обманывает меня. На основании моего письма, написанного 23-го, и на основании ее слов я мог ждать сегодня или ее или телеграмму о том, когда она приедет. И вот третий час, день потерян, все утро – напряженное ожидание и, значит, плохая подготовка для встречи».

Тем временем за окном смеркается. Мятежники то и дело поджигают судостроительные верфи. Разве? Удивляются обыватели. Но Блок с истинно немецкой педантичностью отмечает: «В прошлом году рабочее движение усилилось в восемь

раз сравнительно с 1911. Общие размеры движения достигают размеров 1906 года и все растут»… Блок к большому неудовольствию всех, кто его знал, все больше и больше начинает заигрывать с революционным движением. Он тщательно фиксирует ярчайшие и наиболее резкие проявления любых форм протеста против существующего режима. Как и многие его единомышленники, поэт до конца не сознает, во что может перерасти это милое кокетство. Итак… посмотрим, что же происходило в 1913 году.

Первое крупное выступление рабочих в 1913 году началось 9 января, в восьмую годовщину «Кровавого воскресенья». Бастовали на Выборгской стороне, на Путиловском заводе, за пять дней полностью охваченном забастовкой. Работа возобновилась лишь 18 января, после того как было арестовано около 80 зачинщиков и среди них – весь состав Нарвского районного комитета большевиков. Годовщина печально известных Ленских событий в апреле того же года вывела на улицы 85 тысяч рабочих – в городе с 2,5-миллионным населением насчитывалось около полумиллиона пролетариев, трудившихся на 824 петербургских фабриках и заводах. Одной из причин роста стачечного движения было то, что рабочие перестали бояться массовых увольнений. Блок пишет:

…Там чернеют фабричные трубы,
Там заводские стонут гудки.

Но… Иногда все его формулы и выводы – это не более чем игра ума. Способ уйти от жуткой действительности, которая железной рукой охватила его и не давала ни малейшего шанса вырваться. Его беспричинная усталость все усиливается, тело хоть и сохраняет свой цветущий вид, однако это впечатление весьма обманчиво. Изнутри организм подтачивает неведомый недуг, уводящий постепенно, каплю за каплей силы и энергию. Блок часами неподвижно лежит в постели и не может заставить себя подняться. Хотя и прекрасно понимает, что драгоценные часы жизни ускользают, как песок сквозь пальцы. Об этом он после напишет:

День проходил как всегда,
В сумасшествии тихом.

Наконец, когда уже проходит полдень, Александр Александрович неимоверным усилием воли заставляет себя

подняться. И начинает «утро» с чашки кофе и чтения газет. А там… Все издания буквально распирает от очень и очень неприятных новостей. Реакция в стране усиливается, революционный подъем нарастает, угроза мировой войны становится все явственнее. Блок читает и в сердцах отбрасывает газеты. Он ведь чувствовал, знал, что Россия на краю глобальной катастрофы. И действительно, этот предгрозовой 1913 год всего на несколько месяцев отделял их от страшного августа 1914 года, когда Россия вступит в войну.

Блок берет журналы. Но и с ними ситуация обстоит не лучше. Мережковский по-прежнему проповедует свои идеалы, но к нему никто не прислушивается. Брюсов – этот давешний кумир, пытаясь спасти свою популярность, сближается с футуристами, но они не обращают на него внимания. Представители ультраправых течений призывают правительство поставить побольше виселиц для устрашения революционеров. И Блок тоже откладывает журналы в сторону. Он отправляется к себе в кабинет, чтобы ответить на бесчисленные письма. Вот конверт от Белого – тот просит денег на новый журнал, который сможет воскресить истинный символизм. Но Блоку это не интересно. И он пишет вежливый отказ. Потом Александр Александрович через силу делает корректуру и чистовую обработку третьей книги стихов, готовящейся в печать. Именно они будут причислены к лучшему, что он написал. Просты по форме и мелодичны. Наконец дела закончены. Он выходит из кабинета и едет к матери. Довольно часто они вместе обедают. Несмотря на то, что ее общество ему становится переносить все труднее и труднее. Ведь ее болезнь прогрессирует, и настроение у Александры Андреевны день ото дня все хуже.

Потом… К нему начинают стекаться навязчивые посетители. Свободные художники, жаждущие совета, поэты, просящие прочитать их произведения и высказать свое мнение. Иногда заходит сестра Ангелина – ей он от души рад. Хотя от девушки неотделим тот обывательский мирок, который Блок терпеть не может.

Надоедают ему и женщины. Ему претит так называемая женская глупость. Их болезненное самолюбие, чувствительность, внутреннее ослепление. И Блок решает положить конец этим утомительным связям. «Все известно заранее, все скучно, не нужно ни одной из сторон. Все они одинаковы, что в шестнадцать лет, что в тридцать», – записывает он в записную книжку.

Наконец наступает вечер и он выходит из дома. Идет в редакцию детского журнала «Тропинки», где довольно охотно сотрудничает. Нередко ему приходится выслушивать акмеистов и

их лидера Гумилева. К сожалению, эти два великих поэта, хоть и признавали несомненные заслуги друг друга, но так и не смогли понять то, что их объединяло. Блока отталкивал и сам Гумилев, и роскошный журнал «Аполлон», в котором тот работал.

После редакции Блок пешком возвращается домой. Рабочие выходят из заводских ворот, покупают водку и торопливо распивают ее прямо на улице. А на Невском шикарные дамы дефилируют в длинных норковых шубах. Он смотрит на них – пустые взгляды, двойные подбородки. Боже, как все уродливо. «Но слегка дернуть, и все каракули расползутся, и обнаружится грязная, грязная морда измученного бескровного изнасилованного тела».

Дома дела обстоят не лучше. Кухарка, горничная – все погрязли в невежестве. Их пошлость ужасает его. «Кровь стынет от стыда и отчаяния. Пустота, слепота, нищета и злоба. Спасение – только скит; барская квартира с плотными дверьми – еще хуже».

Все его страшит, все отвращает. Лица на улицах, в трамваях. Вот одна из его зарисовок того времени: «Я вдруг заметил ее физиономию и услышал голос. Что-то неслыханно ужасное. Лицом девка как девка, и вдруг – гнусавый голос из беззубого рта. Ужаснее всего – смешение человеческой породы с неизвестными низшими формами. Можно снести всякий сифилис в человеческой форме, нельзя снести такого, что я сейчас видел, так же как, например, генерала с исключительно жирным затылком».

Уродство чудится ему во всем. А еще страшит эйфория, охватившая всю страну. Словно пир перед приходом чумы. Всевозможные празднества, карнавалы, романтические встречи и поэтические вечера с ворохом цветов и брызгами шампанского стали непременным атрибутом литературного Петербурга и Москвы. Люди как будто предчувствовали грядущие катаклизмы и старались успеть насладиться веселой и легкой жизнью. Только ужасаешься тому, что творится вокруг. Где-то вытащили из воды труп, вот кашляет маленькая нищенка-замарашка. А чуть поодаль бродяга пьет грязную воду из канавы. Да еще Люба. Она все настойчивее просит его о разводе. «Я бы хотел жить, если бы знал как», – говорит он ей. И просит остаться. Она ему так нужна. И она остается, понимая, что если уйдет, он что-нибудь с собой сделает. Никогда Блок не был так близок к самоубийству, как в это время. Но судьба готовилась преподнести ему подарок. Возможно, последний.

Глава 13
Кармен

Такое бывает: поэт способен предвидеть то, что его ждет. Может даже и больше. Напророчить себе будущее. Например, встречу с женщиной. Так случилось и с Александром Блоком. Еще в ранних его стихах возникает образ цыганки, слышатся звон монист, удары в бубен. Он словно ждал момента, когда плясунья кочевая, «как отзвук забытого гимна», вспыхнет перед ним звездой в ночи и войдет в его судьбу.

Но время шло. У него была большая любовь – Люба. И множество увлечений. И все же… Неосознанно, в разноцветной толпе он искал новый образ, который смог бы ему подарить иную любовь. Настоящую. Свою новую королеву. Правда, искал безуспешно. Ведь Блок давно убедил себя, что не достоин любви. Косвенным подтверждением этому стала ненависть, которую они с женой испытывали по отношению друг к другу. Она теперь изменяла ему нарочито, с вызовом, надолго уезжала на гастроли, а вечера проводила в кабинетах и меблированных квартирах. Жить вместе у них не получалось, и супруги то разъезжались, то вновь сходились, для того чтобы продолжать мучить друг друга ненужными скандалами и сценами.

Представить, что когда-нибудь его королевой станет Любовь Дельмас, Александр Александрович не мог даже в самых смелых фантазиях. Более того, если бы оперная певица-примадонна и Александр Блок встретились чуть раньше или, напротив, чуть позже, то просто бы прошли мимо друг друга. Настолько разными они были.

И все же им было предначертано встретиться. Они жили рядом, даже по соседству на самом краю города, в самом конце улицы, упиравшейся в мелководную речушку с грязными, размытыми, суглинистыми берегами. Два дома – один ближе к реке, другой чуть выше – служили пристанищем для двух неприкаянных душ.

Одна – заблудившаяся в потемках надуманной «философии» душа поэта, другая – душа неистовая и пылкая, душа актрисы и певицы.

Однако ни он, ни она не представляли, насколько эта встреча окажется судьбоносной и полностью перевернет жизнь обоих, подарив обжигающую, ирреальную страсть, отказаться от которой невозможно. Ее можно либо принять, либо умереть.

В Петербурге того времени оперы ставили в Большом Мариинском театре и в Театре музыкальной драмы. Репертуар был почти одинаковым, но в Музыкальной драме декорации были более современными, артисты не только моложе, но и играли совсем по-другому. Звездой первой величины была Любовь Дельмас. Высокая, худощавая, с яркими рыжими волосами и лучистыми зелеными глазами, она неизменно вызывала шквал рукоплесканий своей Кармен. О ее красоте говорил весь Петербург.

Иногда сердце певицы сладко-сладко замирало, словно чувствовало: в зале сидит ОН, предназначенный ей судьбой. И тогда дивный, сильный голос раскрывался подобно экзотическому цветку, сводя с ума ценителей ее певческого дара.

И все же… У Блока не зря возникло предчувствие еще за долго до этой встречи. Душа ждала Её, ту женщину, которая бы поняла его. Она пришла. Явилась в образе Карменситы – до ужаса знакомая, далекая и близкая. И закружила его, замела метель любви. Пришла из вихря музыки и света, «всех ярче, верней и прекрасней», веселая, в золоте кудрей, с чарующим голосом. С него, с голоса, собственно, все и началось.

Ведь прежде чем увидеть женщину своей мечты, Блок услышал ее дивный меццо-сопрано. Поэта всегда привлекали женщины а-ля Достоевский. Андреева-Дельмас и оказалась такой. Мать поэта обронила про нее: «Она стихийная…». Блоку же, когда она, потряхивая золотисто-рыжими волосами, в темно-малиновой юбке, оранжевой блузе и черном фартуке, с дразнящей распущенностью, развязностью манер врывалась на сцену, вообще казалось, что это не женщина – «влекущая колдунья». Его влекущая… Может, потому и напишет ей первым… Впрочем, ныне известно все: когда написал первый стих из цикла «Кармен», посвященного ей, когда послал с посыльным первые книги, когда познакомился в Театре музыкальной драмы. Позже Блок возьмет за правило, как вспоминала она, всякий раз после исполнения роли Кармен посылать ей розы – «эмблему красоты… и счастья».

Дельмас – сценический псевдоним певицы. Урожденная Тишинская, Любовь Александровна приехала в Петербург из Чернигова. Поступила в консерваторию, блестяще прошла конкурс. Еще во время учебы исполнила партию Ольги из «Евгения Онегина», потом, уже по окончании консерватории, пела в Киевской опере, в петербургском Народном доме, вместе с Шаляпиным участвовала в заграничном турне, пела в «Риголетто», «Пиковой даме», «Аиде», «Снегурочке», «Парсифале», «Царской невесте» и, наконец, в «Кармен». Ее называли «лучшей Кармен Петербурга».

Она любила жизнь, в ней бушевала «буря цыганских страстей». Ее глаза сияли. Разве могла она оставить равнодушным Поэта? Еще не будучи представлен «лучшей Кармен», Блок часами простаивал у ее подъезда. Посылал ей цветы и книги. Звонил ночами. Позже Блок признавался, что не влюбиться в нее невозможно, хотя он не мальчик, знает эту «адскую музыку влюбленности», ибо «много любил и много влюблялся». Но любовь пришла не спрашиваясь, помимо его воли, в нем проснулись забытые чувства, идет какое-то омоложение души. И еще признался, что, как гимназист, покупает ее карточки, стоит дураком под ее окном, смотря вверх, ловит издали ее взгляд, но боится быть представленным, так как не сумеет сказать ничего, что могло бы быть интересным для нее. И мечтает лишь поцеловать руку, которая бросила ему цветок, а он, как Хозе, поймал его. В эти дни он пишет ей много писем, но не отправляет. Вот некоторые отрывки…

«Я смотрю на Вас в „Кармен“ третий раз, и волнение мое растет с каждым разом. Прекрасно знаю, что я неизбежно влюблюсь в Вас, едва Вы появитесь на сцене. Не влюбиться в Вас, смотря на Вашу голову, на Ваше лицо, на Ваш стан, – невозможно. Я думаю, что мог бы с Вами познакомиться, думаю, что Вы позволили бы мне смотреть на Вас, что Вы знаете, может быть, мое имя…»

«…Я не мальчик, я знаю эту адскую музыку влюбленности, от которой стон стоит во всем существе и от которой нет никакого исхода. Думаю, что Вы тоже знаете это, раз Вы так знаете Кармен (никогда ни в чем другом, да и вообще – до этого „сезона“, я Вас не видел). Ну, и я покупаю Ваши карточки, совершенно непохожие на Вас, как гимназист, и больше ничего, все остальное как-то давно уже совершается в „других планах“, и Вы об этом знаете тоже „в других планах“, по крайней мере, когда я на Вас смотрю, Ваше самочувствие на сцене несколько иное, чем когда меня нет…»

«…Не осудите меня и не примите за наглость то, что я пишу Вам. Я видел Вас в „Кармен“ три раза. В третий раз я был уже до глубины встревожен; в ту ночь я надеялся увидеть, когда Вы выйдете из-за кулис, и писал Вам письмо (непосланное). Я хочу повторить Вам то, что говорил: я не могу сказать, что мое прошлое умерло. Прошлое живет, и оно – не только прошлое, в нем – живое. Вы понимаете, о чем я говорю. Здесь у меня в душе иногда больно, иногда печально и светло; всякое бывает, я только напоминаю Вам о себе, не стоит говорить подробно. Короче, это – вовсе по-другому, нет ни противоречий, ни путаницы, точно то – другой я…»

Но несмотря на пылкость своих чувств, Блок смущался точно школьник и боялся встречи со своей Кармен. И каждый раз ретировался перед тем, как его хотели представить Дельмас. «Она не может полюбить меня», – твердил поэт, набрасывая очередное стихотворение.

Как океан меняет цвет,
Когда в нагроможденной туче
Вдруг полыхнет мигнувший свет, —
Так сердце под грозой певучей
Меняет строй, боясь вздохнуть,
И кровь бросается в ланиты,
И слезы счастья душат грудь
Перед явленьем Карменситы.

Встретились они в последних числах марта 1913 года. В первый же день знакомства они расстанутся в четыре утра. Дома Блок запишет: «Дождь, ванна, жду вечера… Розы, ячмень, верба и красное письмо». И далее: «Хотя вернулись под утро всего лишь из Тенишевского училища (Моховая, 35), где были на диспуте о комедии масок». Там выступали Мейерхольд, Кузьмин-Караваев, который вновь сойдется с женой Блока, и добрая знакомая Блока – актриса Веригина. Накануне Блок напишет Дельмас: «Скажите по телефону, хотите ли вы пойти?.. Билеты… есть». Веригина же вспоминала, что еще раньше Блок, услышав о ее выступлении там, стал пугать, что сядет в первом ряду и будет смешить ее. Но, выйдя на сцену, она увидела: поэту, сидящему в первом ряду, было не до нее. С ним была Андреева-Дельмас. «Я, – пишет Веригина, – лишь укоризненно покачала головой». Да, в первом ряду на ее глазах начинался в эти мгновения самый сумасшедший роман Блока. Он и Дельмас, сидя рядом, переписывались, и записки эти сохранились. «Не могу слушать, – пишет Блок. – Вас слышу. Почему вы каждый день в новом платье?.. – Пришла Тэффи. – Надо пересесть?.. – Теперь уже неловко… – Все это я вижу во сне, что вы со мной рядом… – Вы даже не вспомните об этом… – А если это будет часто?..»

Нет, это не переписка – это, скорее, стенограмма любви. Это даже неловко читать – так здесь все обнажено… В ту ночь, после свидания, Блок написал два стихотворения, обещая в одном из них:

Ты встанешь бурною волною
В реке моих стихов,
И я с руки моей не смою,

Кармен, твоих духов…

После знакомства Блок и Дельмас виделись чуть ли не ежедневно. Пешком возвращались из театра на Офицерскую. Или белыми ночами бродили по закоулкам старой окраины, по Заводской, Перевозной, Мясной… вслушивались в гудки судостроительного завода, расположенного поблизости, ловили запахи моря, долетавшие сюда с ветром. И шли к Неве по набережной Пряжки, через мост, который он назвал «Мостом вздохов», – пояснив, что есть такой же, похожий, в Венеции. Ужинали в ресторанах, пили кофе на вокзале, ездили на Елагин остров, гуляли в парке, ходили в кинематограф, катались с американских гор. И снова «улицы, и темная Нева, и Ваши духи, и Вы, и ВЫ, и ВЫ!».

Сближение шло быстро, по нарастающей. Блок писал ей, что «это страшно серьезно», что в ней и старинная женственность, и глубина верности, и возможность счастья, но главное все же – что-то такое простое, чего нельзя объяснить. В этом и есть ее сила. Преисполненная радостью бытия, она нужна была поэту, хотя, казалось, они жили в разных измерениях и по-разному воспринимали мир. Но оба были художниками – и это еще более их сближало, рождая некое глубинное родство.

Те, кому доводилось видеть их вместе, в фойе ли театра, на концерте или на улице, с удивлением отмечали, как они поразительно подходят, гармонически дополняют друг друга. Особенно это было явно, когда Блок и Дельмас выступали вдвоем со сцены. Так было, например, на литературном вечере, состоявшемся в годовщину их знакомства, – Блок читал свои стихи, она пела романсы на его слова, – и в зале Тенишевского училища, где они присутствовали на первом представлении «Балаганчика» и «Незнакомки». Она тогда была особенно ослепительна в своем открытом лиловом вечернем платье. «Как сияли ее мраморные плечи! – вспоминала современница. – Какой мягкой рыже-красной бронзой отливали и рдели ее волосы! Как задумчиво смотрел он в ее близкое-близкое лицо! Как доверчиво покоился ее белый локоть на черном рукаве его сюртука». Казалось, вот оно, его счастье, которое нашел однажды в Таврическом саду, где они вместе выискивали на ветках сирени «счастливые» пятиконечные звездочки цветков.

Любовь Дмитриевна довольно спокойно приняла этот роман, возможно, почувствовав за ним нечто большее, чем мимолетную интимную связь, каких раньше у ее мужа случалось великое множество. Она по-женски завидовала своей молодой и красивой

сопернице и образам, которые та навевала влюбленному поэту. Они наконец окончательно разъехались. И теперь Дельмас могла спокойно приходить к Блоку когда ей вздумается. Но эта любовь была слишком красивой и поэтичной, чтобы продолжаться вечно. Роман Александра Блока и Любови Дельмас отчасти похож на другие любовные истории XX века: люди так быстро уставали от счастья и душевной гармонии, что начинали искать любой предлог для мучительного разрыва. Какой – было совсем неважно. Может быть, это происходило потому, что разделенная любовь воспринималась как личная несвобода и основная помеха для творчества. А может, напротив, пугала, словно тень грядущего несчастья…

В случае с Блоком и Дельмас все обстояло именно так. Они мучительно и надрывно пытались расстаться, придумывая себе разные оправдания: «мы очень разные», «мы недостойны друг друга», наконец, «мы расстаемся потому, что должны»… На деле причина скрывалась в ином: их страсть постоянно мешала работе. Невозможно писать стихи, когда сходишь с ума от желания, когда все мысли только об одном – о ней и о том, что он может «потерять свою жемчужину» навсегда. Но вот парадокс – именно к этому поэт и стремился. Любовь, делая его счастливым, одновременно разрушала его как личность, как поэта. С этим он никак не мог примириться. Более того, эта любовь, столь непохожая на его прежние увлечения, открыла Блоку грустную истину – молодость кончилась. И вскоре… Безумная страсть превратилась в преданную дружбу, а его восторженные стихи очень гармонично стали уживаться с тихими прогулками по городу, уютными домашними вечерами, проведенными с Дельмас. Ведь Любовь Андреевна как никто другой понимала всю мучительную сложность Блока.

В ящике письменного стола поэт хранил все, что как-то было связано с Дельмас: письма, засушенные цветы, ее заколки и ленты. После разрыва он с трудом заставил себя разобрать эту символическую могилу любви: «….Боже мой, какое безумие, что все проходит, ничто не вечно. Сколько у меня было счастья (счастья, да) с этой женщиной. Слов от нее почти не останется. Останется эта груда лепестков, всяких сухих цветов, роз, верб, ячменных колосьев, резеды, каких-то больших лепестков и листьев. Все это шелестит под руками….»

Глава 14
Блок и Ахматова

Лето 1914 года оправдало все дурные предчувствия Блока. Началась война. Это печальное событие застало поэта в любимом Шахматове, где он занимался перестройкой имения. Но, как ни странно, известие о вступлении России в военные действия против Германии не повергло Блока в депрессию, как того можно было ожидать. Скорее для него это было досадной нелепостью. Именно нелепостью, а не трагедией. Блок не верил в настоящую вражду между двумя странами. Возможно потому, что сам очень любил Германию. Ее литературу, философию, университеты, весь уклад жизни. Он искренне не понимал, почему два народа, у которых столько всего общего, должны воевать друг с другом в угоду своим правителям.

В то же время отношения с Любовью Дмитриевной зашли в совершенный тупик. Его роман с Дельмас Люба переживала мучительно. Настолько, что они даже разъехались и теперь «гишпанская принцесса» могла запросто приходить к Блоку домой. Любовь Дмитриевна терзалась. Уж не погорячилась ли она? Впервые над ее браком нависла столь явная угроза. Что теперь будет? Неужели их отношения с Блоком закончились? Что же ей делать? Может потому, что ответа на этот вопрос она так и не нашла, Любовь Дмитриевна по-своему решила вставшую перед ней дилемму. А именно в духе того времени. Она записалась санитаркой на фронт. Впрочем, ее патриотическое настроение в отличие от мужа разделяла почти вся страна. Более того, везде царило некое сплочение и даже воодушевление. Женщины шли санитарками в госпитали, мужчины рвались в окопы. Добрый приятель Блока – Михаил Терещенко и вовсе перестал заниматься литературной деятельностью, считая, что когда грохочут пушки, музы могут и помолчать.

Москва и Петербург очень сильно меняются в эти военные месяцы. Идут разговоры о мобилизации сверстников Блока, везде раздаются патриотические вирши, и Блока это очень раздражает. Он чувствует, как в воздухе разливается удушье. И хотя он кричит по телефону Гиппиус, что «война – это прежде всего весело», Люба уже уехала и теперь шлет оттуда корреспонденции, которые печатаются под рубрикой «Из писем сестры милосердия». И уж совсем удивительно, что Блок посылал ей в действующую армию свежие журналы мод. «Зачем ей там моды?» – изумилась Веригина. На что мать поэта ответила: «Саша знает, что она это

любит, – ее немного развлечет…»

Блок пишет жене нежные и теплые письма, а еще рассказывает, что сейчас в Петербурге как никогда сильны акмеисты с их лидером Николаем Гумилевым. Мы подошли, пожалуй, к одной из самых загадочных страниц в жизни Блока. А именно – к его отношениям с Анной Ахматовой.

Была ли любовь? Может, все придумано? Гумилев был уверен в последнем. Конечно, это можно было бы объяснить иллюзией мужа, не желавшего верить в чувства жены к другому мужчине. Или упрямством, столь свойственным Гумилеву, не желавшему признавать неумолимых фактов. Тем более что и сами отношения Гумилева с Ахматовой были весьма непростыми. Действительно, они давали друг другу свободу, характерную для того времени, и старались быть выше мимолетных романов с одной и с другой стороны. Гумилев мирился со многими увлечениями Ахматовой, но не мог простить ей платонического чувства к Блоку. Хотя речь о физической близости не заходила никогда. Возможно, именно тщательно скрываемая и загоняемая как можно глубже ревность породила сложное отношение Гумилева к Блоку. Однажды он признался Ирине Одоевцевой: «Только не подумайте, что я хочу хоть как-то умалить Блока. Я отлично понимаю, какой это огромный талант. Возможно, лучший поэт нашего века. Он, а не как большинству кажется, Сологуб. Ни у кого со времен Лермонтова „звуки небес“ не звучали так явственно.

Блок – загадка. Его никто не понимает. О нем судят превратно. Не только враги и хулители, у него их немало, но и самые пламенные его поклонники. Мне кажется, я разгадал его. Блок совсем не декадент, не „кошкодав-символист“, как его считают. Блок романтик. Романтик чистейшей воды, и к тому же немецкий романтик.

Он тоже в двадцать лет был бунтарем. Хотел в своей гордыне сравняться с Творцом. Он тоже хотел заколдовать не только мир, но и самого себя. И тоже был всегда недоволен своим творчеством. Мучительно недоволен – и собой, всем, что делает, и своей любовью. Он не умеет любить любимую женщину. Ведь сам сознает, что ему суждено опять любить ее на небе и изменять ей на земле. Не умеет он любить и себя. И это еще более трагично, чем не уметь любить вообще».

И все-таки у Гумилева и Блока было гораздо больше общего, чем различного. Они оба были рыцарями своей эпохи. Поэтому Ахматова в итоге и ответила на любовь Гумилева и… через всю жизнь пронесла чувство к Блоку.

Много позже она попыталась сама разобраться в сложных запутанных отношениях с Блоком. С молодым Блоком Ахматовой

повстречаться не пришлось; гимназистка Аня Горенко, судя по всему, была в него слегка, воздушно, влюблена, «как сто тысяч таких в России». Что же касается отношений с тем Блоком, который осенью 1911 года на учредительном собрании «Цеха поэтов» попросил Гумилева представить его своей жене, то они настолько причудливы, что можно только подивиться изобретательности Ахматовой. После многих попыток подобрать похожие слова она сказала так: «Мои отношения с Блоком – это книга, которая могла бы называться „Как у меня не было романа с Блоком“».

И все же… Есть подозрения, что великая поэтесса немного слукавила. Если провести небольшое расследование, то вполне можно доказать, что роман, пусть и не совсем обычный, все-таки был. В те годы от стихов Блока и впрямь «теряли голову»; головокружение было не только массовым, но еще и обоюдополым. Старших современников безумие «блокослужения» и «блококружения» шокировало. И. Анненский, которого Ахматова считала своим Учителем, оставил в бумагах уничижительную реплику:

Под беломраморным обличьем андрогина
Он стал бы радостью, но чьих-то давних грез.
Стихи его горят – на солнце георгина,
Горят, но холодом невыстраданных слез.

Для того чтобы разыграть мистерию блокослужения, Ахматовой не нужен был обыкновенный роман с Блоком. Наоборот. Нужно, чтобы такого романа как раз не было. «Есть в близости людей заветная черта, / ее не перейти влюбленности и страсти». Ахматову в отношениях с людьми шагнуть за эту «заветную» – запретную! – черту тянуло…

Ведь недаром мать Блока написала письмо, которое мы приведем полностью. Письмо о прелестной девушке, влюбленной в ее сына.

«Я все жду, когда Саша встретит и полюбит женщину тревожную и глубокую, а стало быть, и нежную… И есть такая молодая поэтесса, Анна Ахматова, которая к нему протягивает руки и была бы готова его любить. Он от нее отвертывается, хотя она красивая и талантливая, но печальная. А он этого не любит. Одно из ее стихотворений я Вам хотела бы написать, да помню только две строки первых:

Слава тебе, безысходная боль, —
Умер он – сероглазый король.

Вот можете судить, какой склон души у этой юной и несчастной девушки. У нее уже есть, впрочем, ребенок. А Саша опять полюбил Кармен».

Но откуда мать Блока могла узнать об Ахматовой? Ведь они не были знакомы! И тут очень кстати вспомнить об Ариадне Владимировне Тырковой-Вильямс. Эта дама не только близко знала Анну Ахматову, по-своему любила эту непохожую на иных молодую женщину, но и часто бывала у Блока. Она занималась издательской деятельностью, и между поэтом и Ариадной Владимировной установились вполне доверительные отношений. Тем более что она обладала одним несомненным достоинством – госпожа Тыркова умела держать язык за зубами, чем необыкновенно подкупала Александра Александровича. Анна Ахматова в этом убедилась на собственном опыте. В автобиографических набросках зафиксирован такой эпизод: «Ариадна Владимировна Тыркова… Ей Блок сказал что-то обо мне, а когда я ему позвонила, он сказал по телефону (дословно): „Вы, наверное, звоните, потому что от Ариадны Владимировны узнали, что я сказал ей о вас“. Сгорая от любопытства, я поехала к Ар. Вл. (в какой-то ее день) и спросила: „Что сказал Блок обо мне?“ А. В. ответила: „Аничка, я никогда не передаю моим гостям, что о них сказали другие“».

Но одно дело – сплетни и совсем другое – задушевный разговор в семейном кругу… Ариадна Владимировна, одна из многочисленных симпатий Ани Горенко, знала будущую поэтессу с детства, восхищалась и внешностью Ани, и ее стихами. Поэтому этой даме было досадно, что Блок не обращает должного внимания на эту девочку. Думаю, буду недалека от истины, если предположу, что госпожа Тыркова вела задушевные беседы с матерью Блока и рассказывала ей об Анне Ахматовой, а возможно, и давала читать необычные стихи, которые писала эта непохожая на других девочка. Во всяком случае, ее рассказ об отношении Блока к Ахматовой почти дословно совпадает с версией А. А. Кублицкой-Пиоттух: «Из поэтесс, читавших свои стихи в Башне, ярче всего запомнилась Анна Ахматова. Тоненькая, высокая, стройная, с гордым поворотом маленькой головки, закутанная в цветистую шаль, Ахматова походила на гитану… темные волосы… на затылке подхвачены высоким испанским гребнем… Мимо нее нельзя было пройти, не залюбовавшись ею. На литературных вечерах молодежь бесновалась, когда Ахматова появлялась на эстраде. Она делала это хорошо, умело, с сознанием своей женской обаятельности, с

величавой уверенностью художницы, знающей себе цену. А перед Блоком Анна Ахматова робела. Не как поэт, как женщина. В Башне ее стихами упивались, как крепким вином. Но ее… глаза искали Блока. А он держался в стороне. Не подходил к ней, не смотрел на нее, вряд ли даже слушал. Сидел в соседней, полутемной комнате».

На самом деле отношения и Блока к Ахматовой, и Ахматовой к Блоку совершенно не укладываются ни в одну схему. И уж тем более в такую простенькую и банальную.

К тому же в высказываниях уважаемой дамы есть неточности. Блок довольно внимательно слушал выступления Ахматовой. И даже записал об этом в дневнике: «Анна Ахматова читала стихи, уже волнуя меня; стихи чем дальше, тем лучше».

Первый раз Ахматова увидела Блока еще весной 1911 года, в редакции «Аполлона», однако на предложение сотрудников журнала познакомить ее с поэтом ответила отказом. И это понять можно: Лермонтов тоже не хотел знакомиться с Пушкиным, хотя тот запросто бывал в доме его родственников. Вторая встреча Блока и Ахматовой произошла осенью. Но и на этот раз Ахматова горячего желания обратить на себя внимание знаменитого современника не выказала. Да, робела, но не только перед ним. К. Чуковский, видевший ее в ту осень, запомнил поэтессу как робкую девочку, которая ходила хвостиком за Гумилевым и старалась ни в чем ему не перечить. Тогда Блок, привыкший к тому, что молодые поэтессы, а их в 10-е годы расплодилось несметное множество, только и делали, что пытались с ним познакомиться, сам подошел к Гумилеву и попросил представить его Анне Андреевне…

Жена Гумилева довольно быстро освоилась в блистательном Петербурге и довольно скоро, а главное очень успешно, научилась скрывать и застенчивость, и «провинциальную необразованность». Ахматова выработала несколько правил, помогавших ей спустя некоторое время стать той знаменитой Ахматовой, которой потом многие подражали. Она научилась «хранить молчанье в важном споре», прикрываясь, как веером, улыбкой, почти «джокондовской», о которой позже скажет: «У меня есть улыбка одна: / Так, движенье чуть видное губ» – оно и приводило современников в неописуемое смущение. Тогда же она выбрала и пару эффектных статичных поз («в позе, выбранной ею давно»). В одной из затверженных поз увековечили Ахматову, независимо друг от друга, но по занятному совпадению чуть ли не одновременно – Мандельштам: «Вполоборота – о печаль!..» (6 января 1914 г.) – явно-открыто, в «Бродячей собаке», и «скрытой камерой» Блок: «Вполоборота ты встала ко мне» (2 января

1914 г.). Ту же поэтофотку, как самый удачный свой портрет тринадцатого года, Ахматова вклеит в «Поэму без героя»: «И как будто припомнив что-то, / Повернувшись *вполоборота,* / Тихим голосом говорю…»

Однако… Нужно признать, что чисто внешние атрибуты светской львицы – позы, улыбки, шали, испанские гребни и африканские браслеты – хорошо смотрелись издалека, условно, с эстрады. А вот при общении с глазу на глаз казались слегка смешными, хуже того – провинциальными. М. Н. Остроумова не без удивления вспоминает первую встречу с женой Гумилева: «Через пять минут после нашего знакомства она сказала мне: „Посмотрите, какая я гибкая“. Я была поражена, когда мгновенно ноги ее соприкоснулись с головой. Непосредственно после этого она прочла свое стихотворение „Змея“. Подобные фокусы А. А. проделывала и в „Бродячей собаке“, и в Башне, восхищая поклонников и раздражая недоброжелателей». Л. С. Ильяшенко-Панкратова, исполнительница роли Незнакомки в блоковском спектакле В. Мейерхольда, вспоминает: «С Ахматовой я встречалась только в „Бродячей собаке“… Разойдясь, Ахматова показывала свой необыкновенный цирковой номер. Садилась на стул и, не касаясь ни руками, ни ногами пола, пролезала под стулом и снова садилась. Она была очень гибкой». Не исключено, что и в «Собаке» «непосредственно после этого» читалась все та же «Змея»:

В комнате моей живет красивая
Медленная черная змея;
Как и я, такая же ленивая,
И холодная, как я.

Блок в «Бродячей собаке» не любил бывать, поскольку считал ее чем-то вроде «игорного дома в Париже сто лет назад». Но Любовь Дмитриевна захаживала, так что о том, что происходило в подвальчике, поэт прекрасно знал со слов жены и мнение свое составил. А уж про змеиные проделки примадонны «собачьего» кабаре и тем паче.

Открытие «Бродячей собаки» приурочили к новогодним праздникам 1912 года. 13 января Ахматова читала там стихи. В феврале Блок окончил начатое еще осенью 1911 года «О, нет! Я не хочу…», обращенное, видимо, к Н. Н. Скворцовой. В письме к матери (март 1911 г.), сообщив, что к нему приехала из Москвы Скворцова, Блок так описывает двадцатилетнюю претендентку на его сердце: «Во всем до мелочей, даже в костюме – совершенно похожа на Тильду и говорит все, как должна говорить Тильда»

(Тильда – главный женский персонаж пьесы Ибсена «Строитель Сольнес»). Так вот, в этом стихотворении есть не связанная ни с сюжетным движением, ни с образом героини фраза: «Но твой змеиный рай – бездонной скуки ад». Естественно, я не утверждаю, что брезгливая сентенция впрямую связана со змеиными упражнениями Ахматовой. Блок, как и она, был мастер делать несколько снимков на одну пластинку. Не думаю, что и она была настолько наивна, чтобы прочитывать подобные сообщения как именно к ней, персонально, обращенные. Но то, что Александр Александрович к ее стихам и к ней лично относился со скрытым и напряженным раздражением, очень даже чувствовала, и не умом-разумом, а практически кожей, женским инстинктом, оттого, видимо, и тушевалась в его присутствии.

Впрочем, для некоторого смущения в присутствии Блока осенью 1911 года у Анны Ахматовой были свои сугубо женские причины. В 1927 году, специально для Лукницкого, чтобы уточнить дошедшие до него слухи, Ахматова неожиданно разоткровенничалась. И…перечислила имена мужчин, с которыми была близка. Ни Модильяни, ни Блока в этом «донжуанском списке» нет. Зато поэтесса неожиданно упомянула Георгия Чуйкова. Согласитесь, не самая удачная фигура. Одно дело – молодой, безрассудный, в богемном стиле парижский роман с почти нищим художником и совсем другое – связь с маститым литератором, живущим по соседству в Царском Селе. Роман с человеком, у которого была устойчивая репутация «волокиты», который своими донжуанскими похождениями был известен всему Петербургу. Ну а самое неприятное – Чулков был не только постоянным спутником Блока в «жизни беззаботной, уличной и хмельной», но и давним любовником Любови Дмитриевны. Кстати, Чулков даже хвалился тем, что Блок ценил его за то, что с ним единственным мог говорить «не по-интеллигентски», то есть по-мужски грубо, «за красным стаканом в таверне». К тому же Чулков был первым, кто обратил внимание на Анну Гумилеву не как на подающую надежды поэтессу, а как на интересную незнакомку. Произошло это, судя по климатическим деталям, ранней осенью 1910 года, вскоре после отъезда Гумилева в Африку. «Однажды на вернисаже выставки „Мира Искусства“, – с удовольствием вспоминал Чулков, – я заметил высокую стройную сероглазую женщину, окруженную сотрудниками „Аполлона“, которая стояла перед картинами Судейкина. Меня познакомили… Через несколько дней был вечер Федора Сологуба. Часов в одиннадцать я вышел из Тенишевского зала. Моросил дождь… У подъезда я встретил опять сероглазую молодую даму. В петербургском вечернем тумане она была

похожа на большую птицу, которая привыкла летать высоко, а теперь влачит по земле раненое крыло… Я предложил этой молодой даме довезти ее до вокзала: нам было по дороге… Мы опоздали и сели на вокзале за столик, ожидая следующего поезда… Вскоре мне пришлось уехать в Париж на несколько месяцев. Там, в Париже, я опять встретил Ахматову. Это был 1911 год».

Поэтому многие биографы Ахматовой предполагают, что стихотворение «Мне с тобою пьяным весело…», которое раньше считалось посвященным Модильяни, написано в связи с парижской встречей с Георгием Ивановичем за стаканом красного вина в таверне. Кстати, Ахматова решительно отводила кандидатуру Модильяни, утверждая: а) что пьяным его не видела, в кафе или ресторане с ним никогда не была; б) что стихов ему не писала (какой смысл писать русские стихи иностранцу, по-русски не разумеющему); в) что отношения были церемонными и обращение на «ты» исключающими; г) что хотя стихи об амурных беседах «через столик» с неким беспутным господином записаны в Париже, ранним летом, ей почему-то представлялись царскосельские осенние вязы. Добавим: «мука жалящая вместо счастья безмятежного» – мотив из репертуара Блока – Чулкова. Да, в Париже Чулков был не один, а с женой, но Надежда Григорьевна смотрела на перманентные любовные связи мужа со спокойной снисходительностью: дескать, ничего не поделаешь – это у Чулковых фамильное.

Вдобавок ко всему Чулков славился тем, что с энтузиазмом продвигал новые дарования в печать. Все это в совокупности явно не украшало биографию начинающей поэтессы… И все же Ахматова не скрывала эту связь. Она вообще не терпела, когда из нее пытались сделать живую икону:

Оставь, и я была как все,
И хуже всех была,
Купалась я в чужой росе,
И пряталась в чужом овсе,
В чужой траве спала.

Можно предположить, Ахматова знала, что о ее романе с Чуйковым Блоку было хорошо известно. И, кажется, поэтесса была права. Однажды в минуту откровения она рассказала Лукницкому, что в то время была мода на платье с разрезом сбоку, ниже колена. У нее платье по шву распоролось выше. Она этого не заметила. Но это заметил Блок. Вряд ли Блок позволил бы себе заметить непозволительно смелый разрез, если бы не был

наслышан о парижских приключениях «косящей» под робкую девочку мадам Гумилевой. Не исключено, что тем же мужским любопытством объясняется и его предложение Ахматовой прочитать на вечере на Бестужевских курсах довольно рискованное (для первого выступления в большой женской аудитории) «Все мы бражники здесь, блудницы…» В автобиографических набросках Ахматова к этому стихотворению сделала примечание: дескать, это стихи капризной и скучающей девочки, а вовсе не заматеревшей в бражничестве «блудницы». Догадывался ли об этом Александр Александрович? Скорее всего, он вовсе не задумывался об этом. Ахматова «начинала волновать» Блока, но вовсе не так, как волновали роковые женщины или прекрасные дамы его мечты, а так, как художника волнует неподдающаяся ему модель – материал, сопротивление которого он не в состоянии преодолеть. К тому же к осени 1913 года, и, может быть, на том самом вечере на Бестужевских курсах Блок инстинктом охотника почуял: в хорошенькой провинциалке появилось нечто новое – несвойственный ей прежде «задор свободы и разлуки».

Ахматова и впрямь к этому времени эмансипировалась. Не осталось и следа от тайного, но изматывающего страха, что успех «Вечера» случаен. И главное, что второй книги не будет. А еще… Замужество, беременность, роды, маленький ребенок изменят самый состав ее существа, и стихи пропадут, внезапно и непонятно. Точнее, как пришли ниоткуда, так и уйдут в никуда. Страх оказался напрасным. Меньше чем за год она собрала новую книгу. Свой первый замужний Новый год Ахматова встречала одна. Впрочем, это как раз-таки она вспоминала с удовольствием. Именно одиночеству в те дни она была обязана «Вечеру», на котором в начале «плодоносной осени» сделала такую надпись: «Он не траурный, он не мрачный, / Он почти как сквозной дымок, / Полуброшенной новобрачной / Черно-белый легкий венок. / А под ним тот профиль горбатый / И парижской челки атлас, / И зеленый продолговатый / Очень зорко видящий глаз».

За «Вечер», с лихвой окупивший все ее женские утраты, она в итоге простила мужа. Тем более что в отношениях с мужчинами больше ценила высокую дружбу, чем физическую верность. Однако вскоре именно их дружбу Гумилев и предал. Он без надежды на взаимность влюбился в смертельно больную кузину, засыпал ее романтическими цветами, и даже… будучи женатым человеком, сделал ей предложение, уверяя, что одно ее слово, и его брак будет расторгнут. Гумилев был безумно влюблен в Машеньку Кузьмину-Караваеву. И долго не мог прийти в себя после ее смерти от скоротечной чахотки… Поэтому, чтобы хоть

как-то заглушить боль, от которой поэт не знал ни секунды покоя, он опять уехал в Африку. Воспользовавшись его отсутствием, мать Гумилева – Анна Ивановна взялась за генеральную уборку, а невестку (Ахматову) попросила разобраться в мужниных бумагах. Ахматова просьбу свекрови исполнила и, наводя порядок на его письменном столе, выудила из вороха рукописей увесистую связку любовных женских писем…

То ли эти чуть не демонстративно брошенные письма, то ли появление на свет той же осенью внебрачного сына Гумилева, а может, все вместе взятое дало Ахматовой громадный творческий импульс. А вместе с ним внутренне освободили от смущавшего ее душу чувства вины перед Колей. И за то, что без страстной любви под венец шла, и что невинность для него, единственного, не хранила… И от брачных уз, и от опрометчиво данных клятв. Потом все это вернется, но потом… после всего… А пока она вновь, как в диком своем детстве, «была дерзкой, злой и веселой».

Словом, Ахматовой осенью 1913 года было хорошо, потому что чем хуже ей было, тем лучше становились стихи. А Блоку было плохо, и чем хуже было ему, тем хуже, мертвее и суше, делались его песни. Он даже перестал их писать. А к осени 1913 года уже решил: ежели распишется, то писать будет только про испано-цыганское. «Искусство, – письмо от 6 марта 1914 года, – радий (очень малые количества). Оно способно радиоактировать все – самое тяжелое, самое грубое, самое натуральное: мысли, тенденции, „переживания“, чувства, быт. Радиоактированию поддается именно *живое,* следовательно – грубое, *мертвого просветить нельзя*».

А потом между ними случилось нечто. О чем оба не очень-то любили и хотели говорить. И уж тем более писать. Судите сами… О том, как Блок провожал ее после вечера на Бестужевских курсах, Ахматова охотно рассказывала. А вот о том, что произошло после – молчала. Но… Исходя из характера Блока, вполне можно предположить, что он не отпустил молодую женщину ночью в непогоду, а пригласил к себе.

В пользу этого предположения говорит то, что всего через три дня после их позднего прощания под пронизывающим ноябрьским мокрым снегом он написал «Седое утро». При первой публикации в этом стихотворении было одно четверостишие, оставшееся от первоначального, конкретно-цыганского варианта: «Любила, барин, я тебя… Цыганки мы – народ рабочий!..» Но потом Блок его вымарал – уж очень не вязалось с характером и даже типом изображенной здесь женщины, вполне светской и только играющей под цыганку:

Как мальчик, шаркнула; поклон
Отвешивает… «До свиданья…»
И звякнул о браслет жетон
(Какое-то воспоминанье)…

Ох уж эти браслеты! Они были воистину уникальны! Весь Петербург их знал. Знаменитые браслеты, которые Гумилев подарил Ахматовой. Они были сплошь связаны с «воспоминаньями». Ведь при каждой размолвке с Гумилевым она их ему возвращала, а он пугался: «Не отдавайте мне браслеты…» Поэтому о том, кто пришел к Блоку в тот ненастный вечер, нетрудно догадаться.

Действительно, именно тогда Анна Андреевна и была приглашена «к поэту в гости». Блок, как правило, педантично отмечал, кто, когда и по какой надобности появлялся в его крайне замкнутом доме. В случае с Ахматовой ее биографам крупно не повезло: все дневниковые записи, относящиеся к осени и началу зимы 1913 года, поэт уничтожил. Сама же Ахматова, когда ее расспрашивали о подробностях, говорила (а потом и писала), что ей запомнилось лишь одно любопытное для «оценки поздней» высказывание: «Я между прочим упомянула, что поэт Бенедикт Лифшиц жалуется на то, что он, Блок… мешает ему писать стихи. Блок не засмеялся, а ответил вполне серьезно: „Я понимаю это. Мне мешает писать Лев Толстой“».

Эта фраза оказалась ключевой для понимания сущности отношений Поэта и Поэтессы. Поставив себя в один ряд с Толстым, и не в шутку, а вполне серьезно, Блок сразу же установил дистанцию между собой и Ахматовой. И тем самым начисто исключил возможность не только диалога на равных, но и вообще дружеского общения: Ахматова думала, что приглашена в гости пусть и к знаменитому, но современнику, а ее встретил чуть ли не «памятник».

Потом Ахматова говорила, что, уходя, она оставила Блоку его сборники – чтобы тот их надписал. На каждом поэт написал просто: «Ахматовой – Блок». А вот в свой третий том лирики вписал сразу после ее ухода сочиненный мадригал: «„Красота страшна“, – Вам скажут…»

Л. К. Чуковская как-то призналась Ахматовой, что не понимала раньше, до ее рассказов о не романе с Блоком, стихотворения «Красота страшна…» А. А. ее утешила: «А я и сейчас не понимаю. И никто не понимает. Одно ясно, что оно написано вот так, – она сделала ладонями отстраняющее движение, – „не тронь меня“».

Действительно, Александр Александрович в то время воспринимал Ахматову как красивую женщину, которая одновременно притягивая не притягивала. Но упорно не видел в ней поэта. Ахматову это решительно не устраивало. Она уже тогда знала, что *после смерти им стоять почти что рядом.* Про себя эта удивительная женщина знала все наперед, а Блок и мысли такой не допускал. Для него Анна Андреевна была одной из многих. Так себе… Для эстрады сойдет и даже будет иметь успех – при нынешней желтой, вульгарной моде на раздушенные перчатки и шляпы с перьями. Он так и не смог, как тогда казалось Ахматовой, разглядеть в ней нечто большее. Конечно, она могла попытаться «зацепить» его как женщина, но…

В это время добиваться и соблазнять Александра Александровича становилось уже достаточно вульгарным. Слишком много было незнакомок, увлечений на час, чтобы Ахматова решилась пополнить их ряды. Иное дело – оказаться в числе немногих избранных, кто был допущен к общению! Разумеется, что при подобных планах (общаться, быть чуть ли не на равных) неожиданное явление тени графа Толстого стало для Ахматовой не только обескураживающим, но и явилось точно гром среди ясного неба. Однако ж и Блок в явившейся к нему даме не узнал столь растиражированный образ. Действительно капризная, не без вульгарности змейка, работавшая под гитану, осталась где-то там, внизу, на углу Мойки и Пряжки. А перед ним стояла совсем другая женщина. Недаром потом возникли строчки: «красота проста – вам скажут». А если и сквозило в ней что-то не петербургское, южное, то опять-таки слишком уж в ином варианте. Точно дальние отзвуки прямых, высоких, длинноносых причерноморских гречанок. А подобных женщин Блок не понимал в принципе и по сути. Они не заставляли его сердце учащенно биться. Но почему его так волнует визит этой дамочки? Почему он чувствует себя так напряженно и в то же время скованно? А главное, боится смотреть ей прямо в глаза, будто может увидеть то, что видеть ни в коем случае не стоит?

В общем, между ними возникло не взаимное притяжение, а напротив, взаимное замешательство. И тогда Блок решил воспользоваться давно отработанным сценарием для начинающих поэтов. Заключался он в том, что Александр Александрович, не умевший и не любивший проявлять себя в разговоре, сначала предлагал визитерам что-нибудь почитать, затем следовало предложение рассказать о себе.

С Ахматовой он тоже решил проиграть этот испытанный вариант. «Рассказывайте о себе…» Интересно, что Ахматова могла рассказать о себе такого, чего бы Блок не знал? Она задумалась,

молчание становилось уже не просто тягостным, а попросту неприличным. Потом ей в голову пришла одна идея… Была одна тема, которую и он и она могли обсуждать подолгу. Блок, как и Ахматова, по-детски страстно любил море. Но… Любя море вообще, Блок никогда не видел Черного моря. А Ахматова… Море – это ее тема. Вот где она могла развернуться и выложить все-все. И про свое дикое, языческое херсонесское детство, и про приморскую юность, и про камень в версте от берега, до которого восьмилетней пацанкой доплывала, и наверняка про шесть верещагинских миноносцев не забыла ввернуть – ведь этот эпизод так поразительно красиво рифмовался с его, Блока, воспоминаниями о миноносцах французских. Один миноносец и четыре миноноски в сонной курортной бухте Бретонского побережья.

Прикинувшись солдаткой, выло горе,
Как конь, вставал дредноут на дыбы,
И ледяные пенные столбы
Взбешенное выбрасывало море
До звезд нетленных из груди своей,
И не считали умерших людей…

Словом, несмотря на тень великого старца, беседа состоялась. И домой Ахматова возвращалась явно в воодушевленном настроении. Она даже твердо решила попробовать написать поэму.

А через несколько дней Ахматова получила бесценный новогодний подарок. Блок не через посыльного, а сам лично принес ей подписанные книги, но, сообразив, что время позднее, передал пакет дворнику и при этом неверно назвал номер квартиры. Но не это было нечаянной радостью, а то, что Александр Александрович просил позволения: «Позвольте просить Вас позволить (именно так: „Позвольте позволить!“ поместить в первом номере этого журнала (речь идет о журнале Мейерхольда „Любовь к трем апельсинам“) – Ваше стихотворение, посвященное мне, и мое, посвященное Вам».

А в июне Ахматова отправилась в Киев, куда по договоренности должен был приехать и Николай Недоброво. По всей вероятности, именно он и привез Анне Андреевне весенние номера «Русской мысли» с морскими стихами Блока.

Недоброво, разумеется, ничего не заметил, но Ахматова не могла не услышать прямой отзвук, казалось бы, напрочь забытой Блоком беседы о море и кораблях, об их, одной на двоих, детской ко всему этому страсти: «Ты помнишь? В нашей бухте сонной /

Спала зеленая вода, / Когда кильватерной колонной / Вошли военные суда». И дальше, самое главное, искупающее и безумный портрет в стиле «не тронь меня», и все прочее в том же духе: «Как мало в этой жизни надо / Нам, детям, – и тебе и мне!»

Ахматова наслаждалась отдыхом в Киеве, и никаких дурных предчувствий у нее не было. Наоборот! Было ощущение полноты душевных сил, доверие к жизни и вера в то, что жизнь сама выберет тропу и даст знак. Так и случилось. «Летом 1914 г., – вспоминала Ахматова незадолго до смерти, – я была у мамы в Дарнице, в сосновом лесу, раскаленная жара… и про то, что через несколько недель мимо домика в Дарнице ночью с факелами пойдет конная артиллерия, еще никто не думал… В начале июля поехала к себе домой, в Слепнево. Путь через Москву… Курю на открытой площадке. Где-то у какой-то пустой платформы паровоз тормозит – бросают мешок с письмами. Перед моим изумленным взором вырастает Блок. Я от неожиданности вскрикиваю: „Александр Александрович!“ Он оглядывается и, так как он вообще был мастер тактичных вопросов, спрашивает: „С кем вы едете?“ Я успеваю ответить: „Одна“. И еду дальше… Сегодня через 51 год открываю „Записную книжку“ Блока, которую мне подарил В. М. Жирмунский, и под 9 июля 1914 года читаю: „Мы с мамой ездили осматривать санаторию на Подсолнечной. – Меня бес дразнит. – Анна Ахматова в почтовом поезде“. (Станция называлась Подсолнечная)».

В 1914 году Ахматова, конечно же, и мысли не могла допустить, что Александр Александрович, увидев ее в тамбуре почтового поезда, заподозрит заговор «нечистой силы», однако сама восприняла встречу на станции Подсолнечная как некий вещий знак.

Летняя благодать. Золотой Киев. Софийские и московские колокольные звоны. Дни, полные гармонии. И эта чудесная встреча. Нет, Блок совсем не понял слова, которые она, не смея произнести вслух, написала на подаренных ему «Четках»: «От тебя приходила ко мне тревога и уменье писать стихи»… Пока ехала, сами собой, словно их кто-то и впрямь диктовал, сложились стихи, нет, не стихи, а моление. Молитвословие – как перед Богом!

И в Киевском храме Премудрости Бога,
Припав к солее, я тебе поклялась,
Что будет моею твоя дорога.
Где бы она ни вилась.

То слышали ангелы золотые

И в белом гробу Ярослав.
Как голуби, вьются слова простые
И ныне у солнечных глав.

И если слабею, мне снится икона
И девять ступенек на ней.
И в голосе грозном софийского звона
Мне слышится голос тревоги твоей.

(8 июля 1914 г.)

10 июля Ахматова была уже в Слепневе. Теперь она уже точно напишет о своем Херсонесе, о дикой девочке, которая знает о море все, и напишет так, как хочет… Завтра! Но завтра уже была ВОЙНА.

Мы на сто лет состарились, и это
Тогда случилось в час один:
Короткое уже кончалось лето,
Дымилось тело вспаханных равнин.

Вдруг запестрела тихая дорога,
Плач полетел, серебряно звеня…
Закрыв лицо, я умоляла Бога
До первой битвы умертвить меня.

Из памяти, как груз отныне лишний,
Исчезли тени песен и страстей.
Ей – опустевшей – приказал Всевышний
Стать страшной книгой грозовых вестей.

Как груз отныне лишний отодвинулся и замысел морской поэмы. Гумилев, проявив чудеса изобретательности (в первые дни войны освобожденных медкомиссией еще браковали), поступил добровольцем и именно туда, куда хотел: рядовым в лейб-гвардии уланский полк. А в августе 1914 года Ахматова и Гумилев обедали на Царскосельском вокзале. И вдруг так же неожиданно, как и месяц назад на платформе Подсолнечная, над их столиком навис Блок. И хотя на этот раз ничего сверхъестественного в его появлении в неожиданном месте не было: Александр Александрович вместе с другом Евгением Ивановым обходил семьи мобилизованных для оказания им помощи, – Ахматова была потрясена. Наскоро перекусив, Блок

попрощался. Проводив взглядом его прямую, в любой толпе одинокую и отдельную фигуру, Гумилев сказал: «Неужели и его пошлют на фронт? Ведь это то же самое, что жарить соловьев».

Снарядив мужа в поход, пока еще не на передовую, а в Новгород, где стояли уланы, Анна Андреевна вернулась в деревню и почти набело, на одном дыхании, написала первые сто пятьдесят строк «У самого моря». Она очень спешила, предчувствуя, что вернется не только в столицу другого государства, но и в другой век.

Поэма была отчаянной попыткой остановить «мгновенье». Ахматова верила, что прощается только со своей херсонесской юностью! На самом деле она провожала полным парадом чувств целый мир…

27 апреля 1915 года Блоку был отослан оттиск поэмы «У самого моря»… Ну а дальше случилось то, что случилось. Получив весной 1916-го полуположительную рецензию на поэму «У самого моря» в форме письма к подающему надежды автору, Ахматова решила, что Блок все забыл. Намертво. «Я сегодня не помню, что было вчера, / По утрам забываю свои вечера»… Но ей, *задуманной так надолго* («Кто бы мог подумать, что я задумана так надолго?»), Бог дал долгую память. Долгую память и позднюю мудрость: не в том сила, что прошло, а что прошло, да было. Так ведь было? *«С ней уходил я в море, с ней покидал я берег»?*

Или все это было сном? Или не было? Ответ на этот вопрос, возможно, кроется в записных книжках Блока. В свое время они поразили многих поклонников. Сошлюсь на эссе Б. Алперса (впервые опубликовано в «Исканиях новой сцены» – М. Искусство, 1985): «Люди, связанные в жизни давними отношениями с Блоком, наверное, были уязвлены тем, что они прочитали о себе в его интимных записях. В этих записях нет ничего оскорбительного. Но от них веет таким глубоким равнодушием, таким ледяным холодом, словно поэт пишет о букашках». В сравнении со многими униженными и оскорбленными Ахматова могла чувствовать себя и избранной, и отмеченной. Но она, как явствует из записей Чуковской, все-таки уязвилась, хотя все, что открылось Алперсу только после прочтения дневников, ей было известно и раньше. «У него глаза такие, / Что запомнить каждый должен; / Мне же лучше, осторожной, / В них и вовсе не глядеть…» Не глядеть… чтобы не увидеть что? Однако не остереглась, заглянула: «Ты первый, ставший у источника / С улыбкой мертвой и сухой, / Как нас измучил взор пустой, / Твой взор тяжелый – полунощника». Испугавшись, должно быть, того, что нечаянно увидела, Ахматова сама от себя скрыла страшные стихи – при жизни Блока не печатала.

Но и Блок, должно быть, все-таки заподозрил что-то неладное. Через два дня после визита Ахматовой были написаны более чем странные стихи:

Тем и страшен невидимый взгляд,
Что его невозможно поймать;
Чуешь ты, но не можешь понять,
Чьи глаза за тобою следят.

Не корысть – не влюбленность, не месть;
Так – игра, как игра у детей:
И в собрании каждом людей
Эти тайные сыщики есть.

Ты и сам иногда не поймешь,
Отчего так бывает порой,
Что собою ты к людям придешь,
А уйдешь от людей – не собой.

Возможно, только спустя время он заметил и сообразил, что каждый раз при столкновении с этой женщиной он ведет себя как… подросток. Задает бестактные вопросы, да и вообще теряет свое хваленое самообладание и равнодушие. А ведь по сути… Он к ней ничего и близко похожего на влюбленность не испытывал, стихов ее не любил, хотя и отмечал, что они чем дальше, тем лучше. Но… Что же тогда между ними промелькнуло, что не давало покоя ни ему, ни ей? Ведь не зря Ахматова в «Поэме без героя» напишет:

На стене его твердый профиль.
Гавриил или Мефистофель
Твой, красавица, паладин?
Демон сам с улыбкой Тамары,
Но такие таятся чары
В этом страшном дымном лице:
Плоть, почти что ставшая духом,
И античный локон над ухом -
Все – таинственно в пришельце.
Это он в переполненном зале
Слал ту черную розу в бокале,
Или все это было сном?
С мертвым сердцем и мертвым взором…

В ее «Записных книжках» есть не намек, а прямое указание. В отрывке, который цитировали не раз и не пять, но без одной фразы. Эту-то фразу – ключ к смыслу шифра, как раз и купировали публикаторы. Не по небрежности, а потому, видимо, что сообщение, в ней заключенное, не поддавалось комментированию. Вот этот фрагмент и эта фраза: «Я как Птишоз с его женским монастырем, в который превратился его рай, его бумажная фабрика. *Херсонес, куда я всю жизнь возвращалась, – запретная зона*». Это тот Херсонес, о котором они говорили всю ночь напролет…

А вот отрывок из записей Блока, почти сразу после знакомства с Ахматовой: «Есть связи между людьми совершенно невысказываемые, по крайней мере, до времени не находящие внешних форм. Такой я считал нашу связь с Вами… по всем „знакам“, под которыми мы с Вами встретились… Если это действительно так… то что значат такие письма, как Ваше последнее?.. Вы становитесь не собой, одной из многих, уходите куда-то в толпу, становитесь подобной каждому ее атому… Демон самолюбия и праздности соблазняет Вас воплотиться в случайную звезду 10-й величины с неопределенной орбитой… В нашем веке возможность таких воплощений особенно заманчива и легка, потому что существует некая „астральная мода“ на шлейфы, на перчатки, пахнущие духами, на пустое очарование…Вам угодно встретиться со мной так, как встречаются „незнакомки“ с „поэтами“. Вы – не „незнакомка“, т. е. я требую от Вас, чтобы Вы были больше „незнакомки“, так же как требую от себя, чтобы я был не только „поэтом“. Милый ребенок, зачем Вы зовете меня в астральные дебри, в „звездные бездны“ – целовать Ваши раздушенные перчатки…»

Вот, пожалуй, и ответ на вопрос, что же было между Блоком и Ахматовой. А было необъяснимое притяжение между двумя великими поэтами. Притяжение, которое, возможно, могло бы привести к сильному глубокому чувству, настолько не похожему на то, что было у них до и после, что они оба предпочли не переступать черту… И еще… Вопреки расхожему мнению, последняя запись Блока говорит о том, что он как раз таки видел в Ахматовой недюжинный талант и предъявлял к ней соответственно куда более высокие требования.

Глава 15
Революция

В июле 1916 года Блока призывают в армию. Наступило время, когда, по словам Гумилева, «жарить соловьев» стало вполне привычным делом. Однако сам Блок к этому отнесся довольно спокойно. Пожалуй, даже безразлично. Он давно смирился с теми переменами, о которых на каждом углу кричат газеты. Сепаратный мир? Александр Александрович не скрывает, что с нетерпением ждет его. Он по-прежнему считает эту войну величайшей глупостью и начисто лишен патриотических порывов. Падение царского режима? Тоже еще новость! Этому уже давно пора случиться. Более того, Блок искренне желает, чтобы это событие как можно скорее произошло. Его равнодушие и безразличие достигло своего апогея, и когда наконец его призывают, он… чувствует себя лишь винтиком огромной, бездушной и бессмысленной машины.

Он сразу попадает в часть, которая расположена в километрах десяти от фронта. И теперь командует подразделением саперов. В этом глухом, еще недавно забытом Богом и людьми уголке Белоруссии, в заброшенном замке, который только что заняли русские войска, офицеры беспробудно пьют, играют в карты, бранят в равной степени дурную кухню и бездарность правительства. А еще жутко скучают. Ох уж эта извечная российская скука! От этой самой скуки чего только не случается в старом замке, какие только забавы не придумывают офицеры. Но… Ничего из этого не трогает поэта. Блок среди них чувствует себя чужаком. Он стал еще более «деревянным» и молчаливым. Иногда беглая усмешка кривит губы, и односложные слова по необходимости слетают с них. Изредка доносится артиллерийская стрельба. А в основном скука, скука, скука. Петербург далеко. Письма от Любы почти не доходят. Она уже вернулась к привычной жизни. Сейчас, кажется, получила приглашение в разъездную труппу. У нее начались гастроли и мимолетные романы. А вот матушке совсем плохо. Ее поместили в лечебницу.

В своих воспоминаниях Нина Берберова очень точно описала те однообразные длинные, серые дни Блока. «Тянутся бесконечные колонны солдат: одни идут на фронт, другие возвращаются с передовой. Телеграф работает безостановочно; за перегородкой вокруг чадящей печки играют на мандолине. Днем

адъютант Алексей Толстой, будущий автор „Петра I“, останавливается в этом Богом забытом углу. Блок рад встрече, но в тот же вечер Толстой уезжает, и он остается один в снежной тьме, где кружат крылья старых ветряных мельниц».

Но вот настает февраль 1917 года. Из Петербурга приходит телеграмма, оповещающая о падении царского режима, отречении царя и создания Временного правительства. Добрый приятель Блока Михаил Терещенко назначен в новом кабинете на пост министра финансов. Блок тотчас испрашивает отпуск и спешит в Петербург.

Столица опьянила и очаровала Блока. Давно ему не было столь радостно и столь легко. И в самом деле… В городе царит праздник, такое чувство, будто все горожане слегка потеряли голову. Везде трафареты… «Свобода!», «Равенство!», «Братство!» Смысл этих лозунгов многие поймут позже… Поймут и ужаснутся. А пока… Пока впервые в жизни Блок чувствует полное единение с народом. Теперь для него народ – это не пьяный извозчик, не бродяга, пивший воду из грязной канавы, и не отупелое лицо прислуги. Это… крепкий, очнувшийся ото сна мужик, которого он всегда стремился узнать и полюбить. В те дни Блок чувствует себя на редкость здоровым и полным сил.

Но… Очень быстро эти первые восторги стали проходить. Расходятся пути Блока и Терещенко. Поэт понимает, что и правительство, и социалисты в первую очередь хотят выиграть войну и разгромить Германию, и он со своей жаждой мира снова остается в таком горьком и таком привычном одиночестве.

В то же время Россия впервые сталкивается с нищетой и разрухой. Начинают происходить вещи, о которых раньше никто и в страшном сне помыслить не мог. Битком набитые поезда плохо обеспечивают перевозки, почта работает все хуже и хуже, снабжение становится ненадежным. И все же!.. Блок не перестает любоваться Петербургом этих дней. А он и в самом деле прекрасен! Кипящий настоящей жизнью, весь в красных знаменах, звенящий революционными песнями, весь хмельной от надежд. По улицам двигаются украшенные цветами грузовики с портретами Керенского, первого избранника русской революции. В дневнике поэт пишет: «Мне уютно в этой мрачной и одинокой бездне, которой имя – Петербург 17 года, Россия – 17 года». И чуть позже появляется запись: «Трагедия еще не началась». А потом происходит нечто уж совсем необычное в жизни Блока. Александр Александрович из нескольких предложенных ему постов выбирает самый, казалось бы, ему не подходящий – пост редактора Чрезвычайной следственной комиссии по расследованию противозаконной деятельности бывших

министров.

Открывается страница, о которой он позже скажет: «жизнь, состоящая из заседаний планетарного масштаба». Блок ведет протоколы допросов бывших министров, заключенных в Петропаловскую крепость, иногда сопровождает судебных следователей, идет с ними в казематы, где содержатся заключенные. У Блока появляется двойственное чувство. Перед ним возникают то откровенные отбросы общества, то постаревшие светские львы, которые никак не могут понять, почему именно с ними произошли такие ужасные вещи. Возвращаясь домой, Блок записывает: «Сердце, обливайся слезами жалости ко всему, ко всем, и помни, что никого нельзя судить; вспомни еще, что говорил в камере Климович и как он это говорил; как плакал старый Кафафов, как плакал на допросе Белецкий, что ему стыдно своих детей.

…Завтра я опять буду рассматривать этих людей. Я вижу их в горе и унижении, я не видел их в „недосягаемости“, в „блеске власти“. К ним надо относиться с величайшей пристальностью, в сознании страшной ответственности».

Однако для Блока все очень непросто даже в эти первые месяцы революции. Он не может, да и не хочет замечать то уродливое, что день ото дня все четче выпирает в революционных буднях. На Украине русские солдаты братаются с немцами, на Рижском фронте немцы стремительно наступают. Не хватает не то что изысков, а просто хлеба, недовольство растет: «неужели это и есть бескровная революция?» На улицах слышны жалобы: «Пусть скорей приходят немцы, а то мы все подохнем с голоду!» На фронте развелось столько дезертиров, что в срочном порядке ввели смертную казнь, и никто уже с этим не спорит. Финляндия, а за ней и Украина провозглашают свою независимость. «Великая Россия» – вот-вот рухнет. Многие говорят о большевизме, и два имени – Ленин и Троцкий все чаще всплывают у обывателей. Впрочем, Блока притягивает революционное учение. В дневнике он откровенничает: «Страшная усталость… В России опять черно… Для России, как и для меня, нет будущего. Нужно выбирать. В июле Ленин и Троцкий пытаются захватить власть. Несмотря на неудачу, ясно, что они не признают себя побежденными. Я по-прежнему не могу выбрать. Для выбора нужно действие воли. Опоры для нее я могу искать только в небе, но небо – сейчас пустое для меня, я ничего не понимаю».

Все близкие Блока более или менее к тому времени уже определились. В основном поддерживают Керенского, желая продолжения войны до поражения Германии и немедленного

ареста Ленина и Троцкого. Блоку не нравятся эти взгляды, и он не скрывает этого. Одиночество вокруг него нарастает со страшной силой. Одна отрада – Люба. Но теперь она далеко. У нее гастроли в Пскове. А вообще-то… Даже когда она приезжает, что он может ей дать? Растерянный, усталый, стареющий, он в тридцать семь лет жалуется на боли в спине и все чаще говорит о приближающейся старости. Его здоровье внушает все больше опасений. Доктора не могут поставить диагноз, не могут определить природу сильных болей. В записной книжке он напишет: «Вдруг – несколько секунд – почти сумасшествие… почти невыносимо. Иногда мне кажется, что я все-таки могу сойти с ума».

К нему по-прежнему льнут женщины. Дельмас навещает его; незнакомые женщины присылают ему письма и любовные записки. Каждую ночь какая-то женская тень обязательно маячит под его окнами. Но женщины больше не интересуют его. Более того, слишком настойчивые поклонницы вызывают лишь острые приступы раздражения. Теперь его любимое занятие – стоять у окна и слушать грохот канонады. Сможет ли он когда-нибудь жить мирно и спокойно? Долго ли еще будет работать Чрезвычайная комиссия?

Он с отчаянием замечает, что его личная жизнь постепенно превращается в сплошное унижение. Дельмас присылает Любови Дмитриевне небольшой мешочек муки – по случаю завтрашних имении. Губы Блока кривит горькая усмешка. Куда уж более… Но разве только у него так скверно и безысходно? По всей стране усиливается разруха, кругом нищета, упадок, все пошло прахом. Когда же тоска становится совершенно невыносимой, он садится в поезд и исчезает на всю ночь. Пьет в хорошо знакомых, до боли родных кабачках, вечных его спасителей от черной тоски.

А в записную книжку заносит: «Все разлагается. В людях какая-то хилость, а большей частью недобросовестность. Я скриплю под заботами и работой. Просветов нет. Наступает голод и холод. Война не кончается, но ходят многие слухи».

Наступила осень. Как вспоминает Георгий Иванов, Невский весь был покрыт семечками, которые с поразительной быстротой грызли и сплевывали нахлынувшие в столицу солдаты и крестьяне. «Остряки сравнивали эту золотисто-серую, шелестевшую, все прибывавшую шелуху с пеплом, засыпавшем Помпею. По ночам запоздалые обыватели принимали яркую Венеру на бледном небе за фонарь летящего на Петербург цеппелина и, засмотревшись, не замечали, как их тут же грабили и раздевали догола шнырявшие повсюду налетчики».

В те оставшиеся до октябрьского переворота дни за одним столиком в «Приюте комедиантов» сидели Троцкий и Борис Савинков. Тогда еще ничто не говорило об их непримиримой вражде. Напротив, они оба находили приятным общество друг друга. И Савинков читал свои декадентские стихи о граде Петра, где нараспев тянул изъезженный мотив о том, что быть Петербургу «пусту». Троцкий кивал головой, и они оба заливали поэзию дешевым вином.

Но вот пришел октябрь. Месяц кардинальных перемен. Еще совсем недавно ежедневная пушка над широкой гладью Невы обозначала полдень. Петербуржцы сверяли по ней часы. Но… По приказу Троцкого вооруженные рабочие выходят на улицы Петербурга; Ленин произносит пламенную речь, определившую потом не только ход событий, но и ход истории. Крейсер «Аврора» входит в Неву, направляет пушки на Зимний дворец… В великолепное растреллиевское здание выпущен боевой снаряд. И как вспоминает Иванов: «Один – единственный выстрел с „Авроры“ гулко, на всю Россию провозгласил полночь. Тут и часов не понадобилось сверять». Власть перешла в руки большевиков. И вот настало это время, когда изменилось все и уже ничего не вернется назад. По вечерам неосвещенные улицы пустеют. Тюрьмы переполнены новыми заключенными, которым только вчера, ревя от восторга, рукоплескала толпа. Связи нет! Петербург отрезан не только от страны, но даже от Москвы. На фронте полный хаос. Немцы продвигаются вперед, и теперь уже никто и ничто не в силах их остановить.

Троцкий, который недавно умилялся стишкам Савинкова, пустил по его следам большевиков с приказом немедленно расстрелять. Но ищейки пока еще были неопытны. И расстрелять сразу не удалось. Поэтому хватали и стреляли тех, кто хоть как-то и когда-то был связан с Савинковым.

В это же время Блок получает из Шахматова письмо от бывшего работника:

«Ваше Превосходительство! Имение описали, ключи у меня отобрали, хлеб увезли, оставили мне муки немного, пудов 15 или 18. В доме произвели разруху. Письменный стол Александра Александровича открывали топором, все перерыли.

Безобразие, хулиганства не описать. В библиотеке дверь выломана. Это не свободные граждане, а дикари, человеки-звери. Отныне я моим чувством перехожу в непартийные ряды. Пусть будут прокляты все 13 номеров борющихся дураков.

Лошадь я продал за 230 рублей. Я, наверное, скоро уеду, если вы приедете, то, пожалуйста, мне сообщите заранее, потому что от меня требуют, чтобы я доложил о вашем приезде, но я не

желаю на Вас доносить и боюсь народного гнева. Есть люди, которые Вас жалеют, и есть ненавидящие.

Пошлите поскорей ответ.

На рояле играли, курили, плевали, надевали Бариновы кэпки, взяли бинокли, ножи, деньги, медали, а еще не знаю, что было, мне стало дурно, и я ушел…»

Блок на письмо не ответил. Никто из семьи не поехал и больше не поедет в Шахматово. Блок заставляет себя вслушиваться в эту музыку революции. Она его преследует. И когда она звучит – исчезает все. Низость жизни, пошлость, тупость… Блок вглядывается в сумрак улицы за окном и видит… Этот образ возник неожиданно… Образ Иисуса Христа. «Иногда я сам глубоко ненавижу этот женственный призрак. Если вглядеться в столбы метели на этом пути, то увидишь „Иисуса Христа“. Наваждение усиливается: „Что Христос перед ними – это несомненно. Дело не в том, „достойны ли они его“, а страшно то, что опять Он с ними, и другого пока нет; а надо Другого?“»

И Блок пишет «Двенадцать». Самое загадочное и противоречивое произведение. В этой поэме нет ничего вымышленного. Именно так маршировали они через Петербург зимой 1918 года. Днем и ночью. В мороз и снег, круша и убивая, насилуя и грабя. Горланя песни о свободе, с винтовками за плечами. Их можно было повстречать в переулочках возле Пряжки, вдоль Невского, в Летнем саду и на безумно любимых Блоком набережных. Они идут по призрачному городу навстречу небывалой, завораживающей жизни. Они сами похожи на призраков, темных и невесомых…

Много-много лет спустя в советских учебниках будет тиражироваться лакированный образ Блока, угодный реалиям социалистического времени. Эти отполированные, казенные фразы до сих пор поражают своей безвкусицей. Но… Мы верили им на протяжении многих и опять-таки многих лет… А. Блок, «начинавший как символист, постепенно пришел к идее революционного возмездия, приветствовал Октябрьскую революцию в поэме „Двенадцать“, первой советской поэме об этой революции, и в других произведениях». И, разумеется, то, что писалось в учебниках и советских энциклопедиях, ничего общего не имело с тем, что было в действительности.

Начнем с того, что Александр Александрович вовсе не думал никого прославлять. С его болезненной правдивостью и детским восприятием окружающего, это было невозможно по сути. И потом, если бы он хотел воспеть большевизм, вряд ли отнес свое детище в левоэсеровскую газету «Знамя труда». Скорее всего, он

бы напечатал ее в какой-нибудь большевистской газете. Тем более что сотрудничество с левыми эсерами закончилось для Блока арестом. Когда в феврале 1919 г. были арестованы члены ЦК партии левых эсеров, пришли и за Блоком. Он просидел в тюрьме ЧК несколько дней. В отличие от эсеровских руководителей, его выпустили, но и место публикации поэмы, и факт ареста свидетельствуют, что тогдашняя верхушка власти ни в коей мере не считала, что поэма прославляет революцию. А совсем даже наоборот.

Сановная дама О. Д. Каменева (супруга Л. Б. Каменева и сестра Л. Д. Троцкого), руководившая в то время всеми театрами России, заявила Любови Дмитриевне, что «Двенадцать» не следует читать вслух, ибо в поэме «восхваляется то, чего мы, старые социалисты, больше всего боимся». Чуть более откровенно высказался брат О. Д. Каменевой в 1922 г. Поэма Блока, по его мнению, отражала «не революцию, а сопутствующие ей явления, по сути, направленные против нее».

Действительно… В «Двенадцати» Блок очень точно и очень правдиво описывает русский бунт. А именно этого большевики и боялись больше всего. Боялись знаменитого кровавого русского бунта, сеявшего страх еще со времен Екатерины II. Поэтому расправлялись с ним особенно беспощадно. Достаточно вспомнить лишь некоторые вехи истории тех лет… Особо жестокое подавление крестьянских восстаний в Тамбовской губернии, на Украине, Кавказе, Урале и в Сибири. А еще удушение мятежа моряков в бывшей «твердыне большевизма» – Кронштадтской военно-морской крепости.

Сам Блок в 1920 г. писал: «Те, кто видит в „Двенадцати“ политические стихи, или очень слепы к искусству, или сидят по уши в политической грязи, или держиморды большой злобы».

Очень ярко сказал о будущих советских литературоведах Борис Пастернак в своем «Первом отрывке о Блоке»:

Кому быть живым и хвалимым,
Кто должен быть мертв и хулим,
Известно у нас подхалимам
Влиятельным только одним.

Не знал бы никто, может статься,
В почете ли Пушкин иль нет,
Без докторских их диссертаций,
На все проливающих свет.

Но Блок, слава Богу, иная,

Иная, по счастью, статья.
Он к нам не спускался с Синая,
Нас не принимал в сыновья.

Прославленный не по программе
И вечный вне школ и систем,
Из грязи не сваян руками
И нам не навязан никем.

«Двенадцать» – это сложное произведение, проникнутое двойным видением революции, которым отличалось блоковское к ней отношение с первых ее весенних дней, сравнительно задолго до Октябрьского переворота. Блок отлично осознавал, что «будет кровь, огонь и красный петух». К. Чуковский полагал, что он, Блок, часто и сам не понимал, что такое у него написалось: «анафема или осанна». Вряд ли поэт не понимал. Скорее, понимание действительности было у него многозначным, то есть таким, какой эта действительность была. Он надеялся, что, несмотря на обагренные кровью руки «двенадцати», с ними все-таки Христос, а не Антихрист. «В белом венчике из роз – впереди – Исус Христос» – прозвучало в конце поэмы, и в этом финале виделась надежда на будущую прекрасную жизнь не благодаря, а вопреки кровавым расправам, грабежам и убийствам. «При чем тут Христос? Вы замените: впереди сам Маркс идет», – вспоминала актриса В. Юренева слова питерского чекиста Могилевского. Составители школьных хрестоматий 30-40-х годов в какой-то мере последовали указанию чекиста: правда, Маркс во главе «двенадцати» поставлен не был, но значилось «впереди идет матрос».

Коллективный герой поэмы – красногвардейский дозор, шествующий по улицам ночного Петрограда; к нему обращены повторяющиеся лозунги-призывы: «Революционный держите шаг!», «Товарищ, винтовку держи, не трусь!» Тут устами автора на плакатном языке словно говорит сама советская власть. Но выглядят дозорные отнюдь не плакатно:

В зубах цигарка, примят картуз,
На спину б надо бубновый туз.

Намек прозрачный: нашивку в виде ромба носили тогда заключенные-уголовники. И в пути «товарищи» по-уголовному выясняют отношения. Картина, нарисованная Блоком, зримо раздваивалась: в ней присутствовало неоспоримое сочувствие

революции, призванной обновить мир, и одновременно революционное воинство выглядело разбойничьей шайкой, готовой к беззастенчивому насилию. «Красный флаг» – он же и «кровавый флаг».

Но это не все. Впереди отряда поэт поставил не комиссара с маузером (что вроде бы напрашивалось), а Иисуса Христа, в «белом венчике из роз» (что казалось совершенной неожиданностью). Обнаруживалось скрытое значение числа 12 – столько учеников, согласно легенде, имел Христос. Что же получается: Спаситель впереди отряда насильников, шагающих «без креста»? И насильники – его ученики? Такой вывод сделали многие. Вчерашние спутники Блока сочли замысел поэта кощунственным, демонстративно отвернулись от «предателя». Большевики, одобряя намерение поэта «очертить огромность октябрьских событий», тоже были шокированы «появлением Христа», а Ленин по этому поводу заявил: «Не понимаю».

Конечно, «Двенадцать» произведение не просто талантливое, а почти гениальное. Именно эта поэма расчистила дорогу стихам Маяковского, да и многим иным поэтам. Поэма необычна и неповторима, с поразительной виртуозностью Блок использует уличные песни и просторечья. Так же, как Лермонтов в своей «Песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», воскресил русский былинный фольклор, Блок в «Двенадцати» увековечил фольклор революционный и создал незабываемый образ города в ту первую зиму новой эры.

Глава 16
Последние годы

Вселенское братство! Вечный мир! Отмена денег! Равенство! Труд! Весь мир – наша Отчизна! За этими прекрасными лозунгами не стояло ничего. Но это было бы еще полбеды. То, что Блок видел на улицах Петербурга, действовало на него точно холодный душ. Очень скоро поэт воочию убедился: во главе тех, кто пришел к власти в ноябре 1917 г., стоял не Христос, а Антихрист. Отныне нет никакой собственности. Летом 1919 г. Блок записал в дневнике: «Чего нельзя отнять у большевиков, это их исключительной способности вытравлять быт и уничтожать отдельных людей». Если у тебя два плаща, один у тебя отнимут и отдадут неимущим. Новорожденный, академик, рабочий и проститутка получали одинаковый паек. Паек, который получал Блок, обычно состоял из воблы и редко – мороженой картошки.

Истертая поношенная одежда становится все причудливее и сводится до минимума. Довольно часто под шубой нет ни рубашки, ни пиджака, ничего, кроме гимнастерки, сшитой из старого одеяла. У государства ничего нет, у народа ничего нет, ни у кого ничего нет. Голодающая страна ходит босиком, горделиво взирая на Европу, которая все еще борется с немцами. Старики умирают сами, бунтарей расстреливают, те, кто не желает понимать, что земной рай близок, бегут за границу. В зимних льдах или прозрачном летнем свете столица, словно тяжелобольной, постепенно меняет свой облик.

В те дни Блок часто бывал в Доме литераторов – бывшем барской особняке на Бассейной. Здание само по себе было безобразное и неудобное. Но… С раннего утра дом наполнялся посетителями. Право на вход имели все, но чтобы получить обед, нужно было иметь членскую карточку. Конечно, у Блока она была. Ох, эти обеды… Даже в эмиграции Георгий Иванов и Ирина Одоевцева не забыли о них. Советское меню – пшенная каша и селедка. С жестяными мисками и ложками в руках стоят, как богаделки, писатели и профессора. Блок, отстоявший два часа в очереди, уносит к себе на Офицерскую пакет с мороженой картошкой. А в хвосте очереди слышится разговор: «Англичане стоят у Кронштадта. Деникин идет на Тулу». И все надеялись, что это безумие скоро закончится.

И все же… Перемены, которые произошли в России, не пугали его. «Поздравляю Тебя с новыми испытаниями и переменами, которые предстоят нам скоро», – писал он Андрею

Белому. Ведь эти ожидаемые им с таким нетерпением перемены глобальны, то есть революционны, а значит – близки Блоку. Не случайно между двух потрясших Россию революций, летом 1911 года, он взахлеб читает книгу английского историка Томаса Карлейля «Французская революция», называя ее гениальной. «Демократия приходит, опоясанная бурей», – любит он цитировать из этой книги.

И разве удивительно, что всякая социальная буря несет разрушение и гибель. Ну что ж – о своем отношении к гибели как таковой, к самому феномену гибели он высказывался неоднократно. Вот еще одно признание, вернее – напоминание, которое Блок позволил себе в письме опять же к Андрею Белому, подчеркнув в нем ключевые слова: «Я *люблю гибель,* любил ее искони и остался при этой любви». Что же касается разрушения, которое обычно гибели предшествует, то он принимает его как данность, даже если речь идет о разрушении, о разграблении родового имения.

В драматической поэме «Песня судьбы» есть такие строки: «На холме – белый дом Германа, окруженный молодым садом, сияет под весенним закатом, охватившим все небо. Большое окно в доме Елены открыто в сад, под капель. Дорожка спускается от калитки и вьется под холмом, среди кустов и молодых березок».

Главные герои Герман и Елена находятся в Шахматово. Тот же дом на холме, та же дорожка, тот же сад… Для Блока это место заповедное, где он «провел лучшие времена жизни». Это его собственное признание, он сделал его в статье, посвященной памяти Леонида Андреева, и добавил, что ныне от этих мест ничего не осталось, разве что «старые липы шумят, если и с них не содрали кожу».

Со всего остального содрали. Унесли все, что можно было унести, – разграбили, осквернили, еще в ноябре 17-го. Узнав об этом, Блок, по воспоминаниям современников, лишь махнул рукой: туда, дескать, ему, белому дому на холме, и дорога.

Что это? Стоическое принятие судьбы? Нет, разрушение влекло Блока подобно наркотику. Причем разрушение всего и вся, и даже его собственной жизни. Недаром Любовь Дмитриевна пишет о битой мебели и посуде: «хватал со стола и бросал на пол все, что там было, в том числе большую голубую кустарную вазу», которую она ему подарила и которую он прежде любил. Такое происходило и раньше, но особенно усилилось перед смертью.

Усилилось что? Любовь Дмитриевна не может найти объяснения тому, что видела собственными глазами, просто пишет, что у мужа «была страшная потребность бить и ломать: несколько стульев, посуду, а раз утром, опять-таки, он ходил,

ходил по квартире в раздражении, потом вошел из передней в свою комнату, закрыл за собой дверь, и сейчас же раздались удары, и что-то шумно посыпалось. Я вошла, боясь, что себе принесет какой-нибудь вред; но он уже кончил разбивать кочергой стоявшего на шкапу Аполлона».

Любимая ваза ручной работы (тогда говорилось – кустарная), извечный Аполлон, символ красоты… Апофеозом такого разрушения как раз и является революция – не потому ли автор «Стихов о Прекрасной Даме» столь горячо принял ее? «Картина переворота для меня более или менее ясна: нечто сверхъестественное, восхитительное». Это, правда, сказано, о Февральской революции, но подобные чувства Блок испытывал и относительно Октября. Но… В то же время Блок, а он не был бы самим собой, если бы тотчас не ужаснулся, увиденным разрушениям, и не воскликнул, напоминая о том, что возмездие рано или поздно придет. Но герои революции не слышат никаких остерегающих окликов, пусть даже они нисходят с самого неба. «Ко всему готовы, ничего не жаль…»

Недаром уже во Франции Георгий Иванов вспоминал о встрече с Блоком. Мимолетной, но очень знаковой. Иванов возвращался вечером из Дома литераторов к себе домой. На Троицком мосту он поставил наземь кулек с мукой, за которым путешествовал так далеко, и облокотился о перила отдохнуть. По пустому мосту к нему медленно приближался человек. Шел тихо, похлопывая ладонью по перилам, явно не торопясь. Вот остановился, закурил, швырнул спичку на лед. Точно не касается его осадное положение и «все из него вытекающее». Из-под барашковой шапки выбивается вьющаяся седоватая прядь, под глазами резкие мешки, еще резче глубокие морщины у рта. Широкие плечи сутулятся, руки зябко засунуты в карманы. И безразличный, холодный отсутствующий взгляд. Это Блок. Какое-то время они с Ивановым стоят на пустом мосту, слушая выстрелы. И тут… «Пшено получили? – спрашивает Блок. – Десять фунтов? Это хорошо. Если круто сварить и с сахаром…. Стреляют… Вы верите? Я не верю. Помните у Тютчева:

В крови до пят, мы бьемся с мертвецами,
Воскресшими для новых похорон.

Мертвецы палят по мертвецам. Так что кто победит, безразлично. Кстати, вам не страшно? И мне не страшно. Ничуть. И это в порядке вещей. Страшно будет потом… живым».

Действительно пророческие слова. И скоро обыватели в полной мере смогут ощутить реалии первых лет революции… В

Петербурге Горький, чтобы поднять культурный уровень масс, увеличивает число учреждений, призванных решать данную задачу. Открывается издательство «Всемирная литература», которое издает шедевры мировой литературы, и «Пролеткульт» – школу пролетарской культуры, куда молодые поэты из рабочих приходят поучиться у старорежимных поэтов. И по протекции Горького Блоку приходится надрываться в целом ряде служб. Он служит не только в Комиссии правительственных театров, но также и в Издательской комиссии при Наркомате просвещения. Иногда за один день он участвует в пяти заседаниях. Но заработков на семью из четырех человек катастрофически не хватало. Продали вещи Любови Дмитриевны, стали продавать книги… Транспорт не двигался, приходилось преодолевать огромные расстояния пешком, чтобы добраться до «служб». Электрического света не было, телефон не работал. Домовой комитет назначал Блока на ночные дежурства у ворот дома.

В прошлом новатор, смело свергавший каноны, Блок стал ощущать тяготение к старому. «Чем наглей насилие, тем прочнее замыкается человек в старом. Так произошло с Европой под игом войны, с Россией – ныне», – пишет он в дневнике в декабре 1920 г.

Но самое страшное – Блок почти перестал писать стихи. Когда К. Чуковский спросил его о причинах, Александр Александрович ответил: «Все звуки прекратились. Разве не слышите, что никаких звуков нет?»

Так Александр Блок умер первый раз. Именно об этом были несравненные строки Марины Цветаевой:

Огромную впалость
Висков твоих – вижу опять.
Такую усталость —
Ее и трубой не поднять.

Здоровье Блока, фактически отлученного от художественного творчества, ухудшалось с каждым днем. И все же сейчас, в 1919 году, он как может, старается наладить свою жизнь. Несмотря на голод и холод не отказывается ни от какой «мобилизации». Ведь стоит поддаться болезни и остаться дома, как тотчас лишишься пайка, а это означает смерть в буквальном смысле этого слова. И Блок работает. Причем выполняет все свои бесчисленные обязанности с присущей ему добросовестностью. Он произносит речи, составляет репертуар театра и правит новые переводы. Любовь Дмитриевна быстрее, чем он, приспосабливается к новой жизни. В различных клубах, кабаре, где только можно, она читает

«Двенадцать», на несколько лет поэма становится доходом семьи и кормит их с Блоком. В этот же год Горький, решивший перевести на русский язык шедевры мировой литературы, собрал для этой небывалой акции весь цвет русской литературы. Конечно, звездой первой величины был Михаил Лозинский, чьи переводы и сегодня остаются непревзойденными. Но именно Горький «откопал» старые переводы Александры Андреевны и бабушки Блока – Елизаветы Григорьевны Бекетовой. Изданы они были под редакцией Блока. И на какое-то время смогли материально поддержать семью. Он смог купить на черном рынке немного табака, картошку и даже чуть-чуть сахара. Но ни за какие деньги невозможно купить вина – только самогон, и тот низкого качества, который гонят тайно, бог весть из чего.

И все же… Блок любил издательство «Всемирная литература». Здесь несколько раз в неделю собирались профессора, академики, поэты, писатели… Они собирались вокруг Горького, чтобы пить чай. Впрочем, чай – это слишком громкое название для безвкусной бурды из сушеной моркови, которую подавали, разумеется, без сахара. Но для большинства этот «чай» был единственным горячим питьем за весь день. Многие знакомые Блока опустились… Но он… упорно, наперекор всему продолжает ходить свежевыбритым, в белом свитере с высоким воротником, и упорно не желает говорить о бытовых тяготах.

И все же ему тяжело. Почти невыносимо. Месяцами термометр показывает минус двадцать. И каждый день нужно поднимать из подвала тяжелые поленья, чтобы хоть как-то растопить печку. Ни электричество, ни телефон не работают, никакой транспорт не ходит, все лошади съедены. Чтобы добраться до нужного места, Блок тратит как минимум три часа – от Пряжки до центра. Глотает все ту же ячневую или пшенную кашу без масла и соли. Пайки скудные – сто пятьдесят граммов сырого хлеба с отрубями, немного воблы твердой как камень, несколько селедок, иногда немного сала и табака. Изнуренный этой жизнью, худой и изможденный, он изо всех сил борется, чтобы не сдаться и не опуститься.

Квартиры к тому времени отобрали почти у всех. На семью полагается одна комната. И после смерти генерала Кублицкого – отчима поэта, Блок с Любовью Дмитриевной переезжают в квартиру, где живут его мать с теткой. В тот же дом, только двумя этажами выше. Так ему легче быть рядом с близкими людьми и обеспечивать их в стужу дровами. Однако отношения между Любой и Александрой Андреевной накаляются до предела, нередко между двумя женщинами возникают безобразные сцены.

Блок это очень тяжело переносит, он откровенно страдает. Любовь Дмитриевна лишается своего заработка – публике наскучило слушать «Двенадцать», и ей приходится принять приглашение в Народный театр. Она пешком отправляется на ежедневные представления на другой конец города, а дома ее ждет – стирка, уборка, стряпня и ежедневные поиски еды. Отупляющая жизнь, которую приходится вести Любови Дмитриевне, причиняет Блоку невыносимую боль и он старается еще больше загрузить себя работой, чтобы хоть как-то помочь ей.

В непроглядно холодной тьме, под порывами колючего ветра он тащится в кооператив, впрягшись в детские санки, чтобы раздобыть немного дров. Блок идет вдоль длинного, замерзшего канала, едва передвигая ноги. Пустые лавки, разбитые окна, дома, открытые всем ветрам, с которых давно оторваны и сожжены двери, дворы, полные испражнений… Так теперь выглядит «блистательный Петербург».

Когда ты загнан и забит
Людьми, заботой, иль тоскою;
Когда под гробовой доскою
Все, что тебя пленяло, спит;
Когда по городской пустыне,
Отчаявшийся и больной,
Ты возвращаешься домой,
И тяжелит ресницы иней,
Тогда – остановись на миг
Послушать тишину ночную:
Постигнешь слухом жизнь иную,
Которой днем ты не постиг.
И в этот несравненный миг —
Узоры на стекле фонарном,
Мороз, оледенивший кровь,
Твоя холодная любовь —
Все вспыхнет в сердце благодарном,
Ты все благословишь тогда,
Поняв, что жизнь – безмерно боле…
А мир прекрасен, как всегда.

Это отрывок из третьей главы «Возмездия», которую Блок никак не может закончить. Пока он еще идет по улице, он думает о ней, но… Как только приходит домой, окунается в совсем иные заботы. То его в прямом смысле «достает» домком, решивший выселить всю их семью, то налоговая инспекция, проверяющая правомочность его доходов, потом различные комитеты,

принудившие больного Блока к ночному дежурству по городу.

В это же время из Москвы в Петербург приезжает Андрей Белый. Он приезжает после двух лет одиночества и нищеты, проведенных в набитой, точно сельди в банке, людьми во вновь сформированной московской коммунальной квартире. Приезжает в надежде, что здесь ему будет полегче. Жена осталась за границей, он… И все еще сомневается, уехать или связать свою судьбу с новой Россией. Изнуренный, изголодавшийся, Белый ищет уголок, где ему было бы покойно, где будет немного тепла и еды. Но Петербург совершенно неподходящий для этого город. И Белый вскоре это понимает. Он по своей сути не борец. Никогда не умел, а сейчас уже поздно учиться жить среди волков, приспосабливаться и устраиваться. Он не знает, кому нужно польстить и что предпринять, чтобы получить дополнительный паек. Поэтому и оказался в той же нищете, от которой бежал. Белый сидит в выстуженной комнате, скрючившийся под шубой, в глубоком отчаянии. Пытается писать, но чернила замерзают, пытается починить единственные брюки, но, увы – опять неудача. А еще… Этот франт, любимец бомонда, чтобы не заболеть тифом, не на жизнь, а на смерть сражается со вшами. И в 1921 году, уже будучи в эмиграции, он напишет жене: «В те годы смерть заглядывала в глаза, и казалось, что снег погребет их всех и отделит от мира, от всего, чем они дорожили».

И все же… Жизнь продолжалась. Белый предлагает Блоку возглавить единственный в советской России свободный журнал «Записки мечтателя». Блок соглашается, и журнал становится его отдушиной. Они еще не знают, что журнал будет закрыт, как только тело Александра Александровича предадут земле.

Почти все знакомые Блока уезжают. Жить в этом новом мире невозможно. Да и Блок понимает это, тем более что состояние его здоровья все ухудшается и врачи настоятельно советуют ему не откладывать с отъездом. В дневнике он пишет: «Вошь победила весь свет, это уже свершившееся дело, и все теперь будут меняться только в другую сторону, а не в ту, которой мы жили, которую любили мы». И еще… «Как безысходно все. Бросить бы все, продать, уехать далеко – на солнце и жить совершенно иначе. Тоска. Когда же это кончится? Проснуться пора!»

Весной 1921 г. врачи установили астму, инфекционный эндокардит, нарушение мозгового кровообращения, тяжелую стенокардию, нервное расстройство, которое подчас граничило с психическим. На почве отвратительного питания стала развиваться цинга. Спасти Блока мог только срочный выезд для лечения за границу. М. Горький попросил наркома просвещения Луначарского похлопотать перед высшими властями о

разрешении Блоку поехать в санаторий в Финляндию. Нарком не торопился; личное заявление Блока застряло в иностранном отделе ВЧК, ведавшим подобными делами. Позже Горький свою просьбу повторил, и, видимо по его инициативе, правление Всероссийского союза писателей сочло возможным обратиться лично к Ленину.

«Самый человечный человек» на это письмо не ответил, а Горького укорил: «Вам не кажется, что вы занимаетесь чепухой, пустяками?.. Компрометируете вы себя в глазах товарищей рабочих». Такая реакция не была удивительной, ибо еще в 1919 г. в письме Горькому Ленин называл другого выдающегося русского писателя, В. Г. Короленко, «жалким мещанином», которому «не грех посидеть недельку в тюрьме», а вслед за этим, не найдя более выразительных эпитетов, обозвал Короленко и других «интеллигентиков» говном.

В это же время Блок начинает понимать тех, кто грезит о Европе. Война закончилась, и там в чистеньких, уютных городках можно спокойно жить и писать. Там много света, вдоволь еды и… даже подметают улицы. В Петрограде ситуация тоже меняется. Начинают ходить поезда, и Блока приглашают в Москву, чтобы прочитать несколько лекций и провести литературные вечера. Он едет и втайне надеется вновь переговорить со Станиславским о постановке своей любимой пьесы «Роза и Крест». В Москве холодно, но присутствие революционного правительства – Ленина и Троцкого придают особую оживленность городу. Москва встречает Блока рукоплесканиями, он собирает полные залы и везде аншлаг. У выхода его ждет толпа, его приветствуют, его провожают, его боготворят. Но в Кремле поэта ждет холодный прием. Хотя его и ценят за прошлые заслуги, все понимают, что в будущем от него ждать нечего. Для Кремля Блок уже «выжат».

Возвращение в Петербург было мучительным, израненная красота родного города производила тягостное впечатление. Его тяготят отношения с людьми, и дом его печален. Ночью он не ложится спать, а сидит в кресле, забросив все дела; днем бродит по квартире, по улицам, борясь из последних сил с болезнью. Он все видел, все понимал, и у него уже не оставалось никаких иллюзий. «Но сейчас у меня нет ни души, ни тела, я болен, как не был еще никогда: жар не прекращается, и все всегда болит. Я думал о русской санатории около Москвы, но, кажется, выздороветь можно только в настоящей. То же думает и доктор. Итак, „здравствуйте и посейчас“ сказать уже нельзя: слопала-таки поганая, гугнивая матушка Россия, как чушка, своего поросенка».

Наступает зима 1921 года. Снова нужно таскать дрова, заботиться о куске хлеба и напрямую зависеть от ограниченных

людей, вершивших твою судьбу. Нет бумаги, чтобы издавать книги, нет декораций и костюмов, чтобы ставить спектакли. А состояние здоровья ухудшается с неумолимой быстротой. Юрий Анненков, впоследствии эмигрировавший, приводит в своих воспоминаниях отчаянные слова Блока: «Я задыхаюсь, задыхаюсь… И не я один: вы тоже. Мы задыхаемся, мы задохнемся все. Мировая революция превращается в мировую грудную жабу».

Но это – в частном разговоре, что тоже было небезопасно, однако Блок не побоится высказать свою мысль и публично, причем трижды: в Петроградском университете и дважды, с разрывом в три дня, в Доме литераторов. Это была речь, посвященная памяти Пушкина. Вот как об этом вспоминает Нина Берберова: «Услышав свое имя, Блок поднимается, худой, с красноватым лицом, с седеющими волосами, с тяжелым и погасшим взглядом, все в том же белом свитере, в черном пиджаке, в валенках. Он говорит не вынимая рук из карманов. В публике есть его единомышленники, но кое-кто пришел специально, чтобы уличить его в крамоле; есть представители власти, чекисты и молодежь, будущие строители новой эпохи. И Блок говорит:

„Любезные чиновники, которые мешали поэту испытывать гармонией сердца, навсегда сохранили за собой кличку черни… Пускай же остерегутся от худшей клички те чиновники, которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу и препятствуя ей выполнять ее таинственное назначение…

Пушкин умер. Но „для мальчиков не умирают Позы“, – сказал Шиллер. И Пушкина тоже убила не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха. С ним умирала его культура.

Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…

Это предсмертные вздохи Пушкина и также вздохи культуры пушкинской поры.

Покой и воля. Они необходимы поэту для освобождения гармонии. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю – тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем; жизнь потеряла смысл“».

Впервые это было произнесено 11 февраля 1921 года. До смерти Блока оставалось сто семьдесят семь дней. А в апреле 1921 года в журнале «Записки мечтателей» появился подписанный Блоком странный, без обозначения жанра, текст под названием «Ни сны, ни явь». Это прозаические кусочки, которые если и связаны друг с другом, то разве что одним: описанное в

них могло явиться рассказчику наяву, а могло и во сне. Либо, скорее всего, в полусне. «Я закрываю глаза, и передо мной проходят обрывки образов, частью знакомых, частью – нет».

Что же это за образы? Ну, прежде всего, образ души, которая путешествует по миру отдельно от тела.

«Усталая душа присела у порога могилы». Весна, цветет миндаль, мимо проходят то Магдалина, то Петр, то Саломея. Кто-то из них спрашивает у души, где ее тело, и та отвечает: «Тело мое все еще бродит по земле, стараясь не потерять душу, но давно уже ее потеряв». Тут откуда ни возьмись появляется черт и придумывает для души жестокую муку: посылает ее в Россию. Душа мытарствует по России в двадцатом столетии…

Так заканчивается этот маленький фрагмент. Потом душа возникнет еще раз – в качестве преследователя, бегущего от нее хозяина, завершается же текст – последний прижизненно опубликованный текст Блока – диалогом. Кто с кем говорит – непонятно, да это и не суть важно. Просто некто, обходя по вечерам сад, всякий раз видит человека, который стоит на коленях перед открытой ямой и, сложив руки рупором (стало быть, яма глубока), глухим голосом призывает поторопиться. Ему отвечают из ямы, и не один голос, не два – много; отвечают, что, дескать, всегда поспеют… Ничего особенного – может быть, это садовник беседует с рабочими (такая высказывается гипотеза), но на того, кто обходит сад, картина эта наводит ужас. «Так невыносимо страшно, что я бегу без оглядки, зажимая уши».

Блуждающая отдельно от тела душа, открытая, как бы ждущая свежих гостей яма, приглашение поторопиться… И впрямь – ни сны, ни явь, а так… состояние духа. Очень больного, добавим мы, духа и, как бы стремящегося соответствовать ему, – больного тела. «По телефону 6 12 00 бывало позвонишь, и раздается, как из могилы, печальный и густой голос», – записал в дневнике Корней Чуковский, увековечив ненароком номер блоковского телефона… Вот только началось это не в апреле 1921 года, как принято считать, а годом раньше, но тогда прошло незамеченным, в том числе и самим пациентом. Не придал Блок значения мимолетной хвори…

Кажется, не придал ей значения и известный питерский доктор Александр Григорьевич Пекелис. «Впервые я был приглашен к Александру Александровичу весной 1920 г. по поводу лихорадочного недомогания. Нашел я тогда у него инфлуэнцу с легкими катаральными явлениями, причем тогда же отметил невроз сердца в средней степени». Но то, чему не придал значения доктор, заметила – не могла не заметить – мать. «Он исхудал, глаза больные, озлоблен, молчалив более чем когда-

нибудь», – взволнованно пишет Александра Андреевна сестре.

Год тем не менее прошел относительно спокойно, не считая голода, от которого страдали все, не исключая и доктора Пекелиса, почти сразу же ушедшего за своим великим пациентом в мир иной. Но подробный отчет о болезни Блока составить успел…

Несмотря на резко ухудшающееся состояние здоровья, Блок не отменяет своего вечера, который 25 апреля устраивал Дом искусств в Большом драматическом театре.

В зале негде было яблоку упасть, но Блок, несмотря на скверное физическое состояние, держался спокойно – в отличие от Корнея Чуковского, который открывал вечер. Получилось у него это, по собственному его признанию, из рук вон плохо. «Я говорил и при каждом слове мучительно чувствовал, что не то, не так, не о том. Блок стоял за кулисой и слушал, и это еще больше угнетало меня. Он почему-то верил в эту лекцию и много ждал от нее».

Быть может, потому, что чувствовал: скоро – теперь уже совсем скоро – он отступит «в ту область ночи, откуда возвращенья нет», а так как «смерть понятней жизни», то, уходя из этой так до конца и не понятой им жизни, хотел уяснить, что все-таки успел сделать в ней. И успел ли…

Успел, доказывал и ему, и всему притихшему залу Корней Чуковский. Успел… Стоящий за кулисами поэт внимательно слушал, а потом, – пишет в своей мемуарной книге Всеволод Рождественский, – заметил, ни к кому конкретно не обращаясь: «Как странно мне все это слышать… Неужели все это было, и именно со мной?»

Будто со стороны глядел на себя. Будто дух уже отделился от тела…

Это было его последнее выступление в родном городе. Завершил он его, по уже сложившейся традиции, стихотворением «Девушка пела в церковном хоре…»

Так пел ее голос, летящий в купол,
И луч сиял на белом плече…

На плече девушки – луч, а на груди автора – белый цветок в петлице. По словам Чуковского, поэт «имел грандиозный успех». Через неделю он уезжал в Москву – там его ждали с нетерпением, все билеты были давно раскуплены, но ведь он вернется! Все рано или поздно возвращаются… Так, можно предположить, думали и верили собравшиеся под сводами театра почти две тысячи зрителей, желавшие услышать одного-единственного человека.

Причастный Тайнам, – плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.

В Москву выехал первого мая – в сопровождении все того же Чуковского. Остановился, как и в прошлый раз, ровно год назад, в доме специалиста по древним литературам профессора Петра Семеновича Когана. Его жена Надежда Александровна Нолле-Коган встречала Блока на вокзале. Светило солнце, на деревьях лопались почки, но с трудом вышедший из вагона поэт никак не гармонировал с этой победоносной весной. «Где легкая поступь, где статная фигура, где светлое прекрасное лицо? – писала впоследствии Надежда Александровна. – Блок медленно идет по перрону, слегка прихрамывая и тяжело опираясь на палку. Потухшие глаза, землисто-серое лицо, словно обтянутое пергаментом. От жалости, ужаса и скорби я застыла на месте. Наконец Блок заметил меня, огромным усилием воли выпрямился, ускорил шаги, улыбнулся».

Целуя руку, успокоил даму: ничего, дескать, страшного, обыкновенная подагра. А она вспоминала слова из полученного ею в начале года блоковского письма: «Я бесконечно отяжелел от всей жизни». Не просто *от жизни,* а от *всей жизни,* то есть от внешнего и внутреннего вкупе…

Едва добрались на автомобиле до дома, ушел в хорошо знакомую ему еще с прошлого раза комнату, лег на диван. Выйдя некоторое время спустя, вновь принялся успокаивать хозяев: просто устал с дороги, завтра он будет иным. Но ни завтра, ни послезавтра, ни третьего дня иным не стал: плохой сон, плохой аппетит, не говоря уже о непрекращающихся болях. Чета Коганов настояла, чтобы он показался доктору, самому лучшему, кремлевскому. Этим доктором оказалась женщина. Она внимательнейшим образом осмотрела Блока и, как он написал матери, нашла, что «дело вовсе не в одной подагре», а в том, что у него, «как результат однообразной пищи, сильное истощение и малокровие, глубокая неврастения, на ногах цинготные опухоли и расширение вен».

И в таком состоянии он должен был выходить на сцену и читать, читать, читать… За девять дней – шесть выступлений, ровно половина из них пришлась на седьмое мая. Тогда-то и произошел инцидент, о котором поведал в своих воспоминаниях Корней Чуковский и с которого мы начали наше повествование. Поэту бросили в лицо, что он мертв, и поэт согласился смиренно, с полным внутренним убеждением: «Он говорит правду: я умер». В этот день его познакомили с Борисом Пастернаком. Вот

Пастернак был жив, он писал стихи, Блок же без обиняков объявил, что делать этого не будет больше никогда. Не со сцены объявил – такого рода жесты были ему чужды, – в гостеприимном доме Коганов, когда к нему в комнату однажды утром вошла встревоженная хозяйка, услышав кашель и слабый стон.

«Блок сидел в кресле спиной к двери, в поникшей, утомленной позе, перед письменным столом, возле окна, сквозь которое брезжил холодный и скупой рассвет… Услыхав, что кто-то вошел, Блок обернулся, и я ужаснулась выражению его глаз, передать которое не в силах. В руке Блок держал карандаш. Подойдя ближе, я заметила, что белый лист бумаги был весь исчерчен какими-то крестиками, палочками. Увидев меня, Александр Александрович встал и бросил карандаш на стол. „Больше стихов писать никогда не буду“, – сказал он и отошел в глубь комнаты».

Причина? Когда-то он обмолвился, что не должен писать стихов, потому что очень хорошо умеет делать это, но тут было другое. Не проблемы с техникой, совершенное владение которой якобы мешало ему, и даже не проблемы со здоровьем. Другое… Что именно – не объяснил, во всяком случае тогда, но он исчерпывающе сделал это еще четыре года назад в письме к матери: «Я утратил остроту восприятий и впечатлений, как инструмент, разбит». Шел апрель семнадцатого, воспринимать было что, Блок пишет об истерическом нагромождении событий и фактов, прибавляя, однако, что безобразное количество фактов только оглушительно, всегда антимузыкально, то есть бессмысленно.

Он часто и разным людям жаловался, что все звуки прекратились. Не пишет, потому что не слышит. «Писать стихи забывший Блок» – это его собственные слова. А раз нет стихов, зачем жить? «Делается что-то. Быть готовым. Ничего, кроме музыки, не спасет», – записал он в дневнике еще 4 марта 1918 года. И вот это таинственное «что-то» сделалось. Музыки нет больше. А значит, ничего не спасет. Но он готов. Он отправляется умирать. Во всяком случае, из Москвы уезжает раньше намеченного срока.

Провожала его, как и встречала чуть больше недели назад, Надежда Александровна Нолле-Коган. «Блок вошел в вагон и стоял у окна, а я возле. Вот поезд задребезжал, скрипнул и медленно тронулся. Я пошла рядом. Внезапно Блок, склонившись из окна вагона, твердо проговорил: „Прощайте, да, теперь уже прощайте…“ Я обомлела. Какое лицо! Какие мученические глаза!» Но при этом – ни одной жалобы… Ни малейшего ропота на судьбу… «Уменьем умирать душа облагорожена». Он написал

это пятнадцать лет назад, уже тогда все понимая и все предвидя. А еще годом раньше, будучи двадцати шести лет от роду, вывел, заканчивая стихи «Сын и мать», которые посвятил матери: «Сын не забыл родную мать: сын воротился умирать».

Матери, правда, не было в Питере, и уже на следующий день после приезда он пишет ей в Лугу: «В Москве мне было очень трудно, все время болели ноги и рука, рука и до сих пор болит, так что трудно писать». Но не торопит ее с возвращением домой – в маленькой Луге с ее многочисленными подсобными хозяйствами прокормиться легче, нежели в огромном, голодном Петрограде. Одна только подробность: на еду, как на лекарства, выписывали рецепты. Но это еще не гарантировало, что еда будет.

И все-таки главным была не еда, вернее – не отсутствие таковой, главным было состояние его духа. Через месяц после смерти мужа Любовь Дмитриевна напишет в дневнике, вспоминая те ужасные дни: «Мрачность, пессимизм, нежелание – глубокое – улучшения и странная раздражительность, отвращение ко всему». То есть нежелание лечиться. Нежелание выздоравливать. Зачем? «Я не вижу никаких причин для того, чтобы жить так, как живут люди, рассчитывающие на долгую жизнь». Он написал это жене еще в 1908 году, но мог и сейчас повторить эти слова. Впрочем, она и без повторения читала их постоянно в его глазах. «Болезнь моя росла, усталость и тоска загрызли, в нашей квартире я только молчал». Эта запись сделана 25 мая. Блок прямо-таки физически ощущал это удушье. «Мне трудно дышать, сердце заняло полгруди», – записывает он 18 июня.

Доктор Пекелис видит сугубо медицинский аспект этого катастрофического состояния и с двумя другими профессорами ставит диагноз: эндокардит, что означает воспаление клапанной системы сердца. Опять, в жесткой форме, рекомендует ехать за границу, и Блок, устав сопротивляться, соглашается, но лишь на Финляндию: это самая ближняя заграница.

Начинаются хлопоты. Но… ЦК уклоняется от решения этого вопроса, дав лишь санкцию «улучшить продовольственное положение А. А. Блока». Еще через две с половиной недели иностранный отдел ВЧК проинформировал секретаря ЦК В. М. Молотова, что он не видит оснований для выдачи Блоку разрешения на выезд.

Известие о тяжелом состоянии поэта быстро разнеслось по Питеру и Москве. И, надо сказать, Горький, который не раз занимал двусмысленную позицию в подобных ситуациях, продолжал настаивать, несмотря на ленинскую выволочку. Он писал В. Г. Короленко: «А. А. Блок умирает от цинги, и я не могу убедить людей в необходимости для Блока выехать в

Финляндию». Какие люди могли принять положительное решение, было совершенно ясно. Горький вновь пишет Ленину: «Честный писатель, не способный на хулу и клевету по адресу советского правительства, А. А. Блок умирает от цинги и астмы, его необходимо выпустить в Финляндию, в санаторию. Его – не выпускают». Ильич вновь запросил мнение «экспертов» по художественному творчеству из ВЧК. Один из наиболее видных «искусствоведов в штатском» В. Р. Менжинский, член коллегии этого милого ведомства, 11 июля доложил: «Блок натура поэтическая. Произведет на него дурное впечатление какая-нибудь история, и он совершенно естественно будет писать стихи против нас. По-моему, выпускать не стоит, а устроить Блоку хорошие условия где-нибудь в санатории».

Именно эта аргументация фигурировала на заседании Политбюро 12 июля, на котором рассматривалось «ходатайство тт. Луначарского и Горького об отпуске в Финляндию А. Блока» (именно такова была великолепная русская грамматика высшей большевистской черни). На заседании не было Сталина, Каменев и Троцкий поддержали ходатайство, Ленин, Зиновьев и Молотов голосовали против. Горький продолжал настаивать, требуя пересмотра решения. Несвойственное ему обычно упорство продемонстрировал Луначарский, направивший высшим иерархам довольно жесткое послание: «Могу заранее сказать результат, который получится вследствие (принятого) решения. Высоко даровитый Блок умрет недели через две». Луначарский предупредил, что копию письма пошлет Горькому, чтобы писатели знали, что: «я в этом (пусть ЦК простит мне выражение) легкомысленном решении нисколько не виновен!»

Наконец Ленин поддался на уговоры. Но и теперь во всю силу проявились иезуитство и подлость большевистского «вождя в законе». На заседании Политбюро 23 июля он проголосовал за «отпуск» Блока, Молотов воздержался. Против вновь голосовал непреклонный питерский хозяин Зиновьев. В этом решении, однако, была «маленькая» оговорка – Блока выпускали одного, без жены, которую решили сделать заложницей. Но «политбюрократы» отлично понимали, что находившийся уже в тяжелом состоянии поэт не то что выехать за границу, а несколько шагов по комнате не в состоянии был сделать без помощи близких. А. Г. Пекелис, лечащий врач Блока, в эти дни полагал, что все еще есть надежда на перелом в лучшую сторону, но необходима была срочная медицинская помощь, которую в России Блок получить не мог.

В то же время самому поэту все становится безразлично, он будто постоянно дремлет. Однажды его находят уснувшим на

бульварной скамье, в другой раз, с побледневшим лицом, он застывает посередине комнаты. Страдания его становятся невыносимыми. Он уже не может лечь, поскольку задыхается, когда же боли чуть отпускают, он начинает перелистывать рукопись «Возмездия», которую все еще мечтает закончить. Потом… Начинается жуткая агония. Боли не прекращаются ни днем ни ночью. Любовь Дмитриевна никого к нему не пускает, разумеется, кроме Ионова, посланного следить за тем, как умирает великий поэт. Вообще-то лето стало самым черным для русской поэзии. Горький готовится к отъезду. Белому тоже обещали паспорт. Ахматова уезжать не собирается, но нищенствует и голодает. Однажды какая-то женщина подала ей копеечку, которую поэтесса сохранила на память. Гумилев третьего августа арестован и в конце месяца будет расстрелян, дни Блока сочтены. Нина Берберова писала в своих воспоминаниях: «Внезапно все почувствовали себя на краю бездны, стремительно поглощавшей все прекрасное, великое и дорогое. С необычайной остротой мы переживали и наблюдали конец целой эпохи, и зрелище это вызывало священный трепет, было исполнено щемящей тоски и зловещего смысла».

Последние дни Блока были ужасны. Он кричал днем и ночью. Не приходя в сознание, 7 августа поэт умер. Для современников его смерть была равнозначна убийству. Писатель Евгений Замятин, который вскоре прославится своим антитоталитаристским романом «Мы», писал Чуковскому на следующий день: «Умер Блок. Или вернее: убит пещерной нашей, скотской жизнью. Потому что его еще можно – можно было спасти, если бы удалось вовремя увезти за границу». О том, как окончил свою жизнь поэт, вспоминали и позже – открыто за рубежом и втихомолку на родине. Осталось без ответа место из письма французского левого интеллектуала Ромена Роллана Горькому от 25 января 1928 г., где говорилось: «Поэта Александра Блока безобразно третировали, он был доведен до сумасшествия и умер в расцвете лет». Открыто же советские «специалисты» упорно твердили, что Блок «до самого конца… хранил непоколебимую верность тому необыкновенному и великому, что подняло (его) на самый гребень волны в огне и буре Октября». Вполне предсказуемое «возмущение» вызвало появление в «Литературной газете» стихотворения Анны Ахматовой, в котором была такая строфа:

И ветер с залива.
А там, между строк,
Минуя и ахи и охи,

Тебе улыбнется презрительно Блок,
Трагический тенор эпохи.

Остается добавить, что злополучные паспорта на выезд в Финляндию Блок получил прямо накануне смерти. Пресса отозвалась о смерти поэта только одним маленьким объявлением в траурной рамке.

«В день его смерти, в шесть часов, – вспоминает Нина Берберова, – отслужили коротку заупокойную службу по православному обряду. Нас было человек десять, собравшихся вокруг его смертного ложа. С сильно поредевшими волосами, с темной бородкой и поседевшими висками, худой, с лицом изможденным страданием, он был неузнаваем. В комнате, где не осталось мебели, плакали Любовь Дмитриевна и Александра Андреевна».

Три дня спустя Петербург хоронил Блока. Было ветрено, но солнце светило достаточно ярко. Больше двухсот человек пришли проститься с поэтом. Белый, Пяст и другие несли на Смоленское кладбище открытый гроб. Надгробных речей не было. Одним из последних его коснулся Юрий Анненков. «Вместе с Алянским и двумя другими друзьями покойного, – писал он в своем знаменитом „Цикле трагедий“, – мы держали канаты, на которых, под руководством профессиональных могильщиков, гроб опускался в могилу. Совсем рядом – плачущая Ахматова». Этот плач отозвался в ее «Стихах-плаче». И как потом напишет Берберова: «У всех было ощущение, что вместе с его смертью уходит в прошлое этот город и целый мир. Как сам Блок и его современники были детьми страшных лет России, так и мы стали детьми Александра Блока. Через несколько месяцев уже ничто не напоминало об этой поре русской жизни. Одни уехали, других выслали, третьи были уничтожены или скрывались. Приближалась новая эра».